



"Эхо (Сборник)"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Юрий Маркович Нагибин

Эхо



Юрий Нагибин

ЭХО



РАССКАЗЫ



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

Зимний дуб



Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботинок, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» — с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице.

Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!..

Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани; полущубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку, хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

— Как Леша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, — в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лешка у меня смиренный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой.

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребяташки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи...» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в

грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» — «Ученик». Или: «Что это?» — «Книга».

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, — наверно: «Что она объясняет?..»

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладница, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась — то, на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», — самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор...

— Вам все понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!.. — хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

— Кошка...

— Правильно, — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка».

И тут прорвало:

— Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..

— Правильно, — говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры.

Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо, трактор, колодец, скворечник...

А с задней парты, где сидел толстый Вася, тоненько и настойчиво несло:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнес:

— Город...

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно, — сказала Анна Васильевна. — Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Вася все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб! — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы.

Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и «зимний дуб»! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы.

«Трудный мальчик», — подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался...

— Садись, — сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.

Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна. — Он по-взрослому развел руками. — Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше

Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живешь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.

— А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, — сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

— Напрямик, а не напрямки, — привычно поправила Анна Васильевна.

Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитрое. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама, — улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая, усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже не приятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.

— Придется мне сходить к твоей матери.

— Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!

— К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трех...

— Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.

Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжело нагруженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного сучочка убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдугые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извилам русла, то,

поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошел! — словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. — Только вы не бойтесь, — добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, — лось — он смирный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого?.. Живого?.. — Савушкин вздохнул. — Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки, — застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрим глазком живая вода.

— А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна.

— В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много, — с увлечением говорил Савушкин. — Ручей-то и под снегом живой...

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив — сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

— Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегают тени...

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет

этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чашу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны в белых, сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!..



Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

— Вон как укутался! — Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом.

Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулук на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется, — засмеялся Савушкин, — будто мертвая. А дай солнышку поиграть, заскачет ой-ой как!

Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет — четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! — вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. — Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшней урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощеява ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкрикали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку:

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне:

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь — с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего за Родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.



Комаров



Когда облака наплывали на солнце, вода в заливе из голубовато-белесой становилась сизой с тусклым, свинцовым отсветом. Большой, гладко вылизанный волнами камень, торчавший метрах в пяти от берега, тоже темнел, и от него ложилась на воду бархатистая черная тень. Колеблемая волной тень то укорачивалась, то удлинялась, и мне стало казаться, будто у камня плещется черный тюлененок.

— Комаров, перестань! Слышишь, что тебе говорят, Комаров!

Уже не в первый раз звучал за моей спиной этот скрипучий женский голос. И всякий раз он призывал к порядку какого-то Комарова. «Беспокойный мужчина, — подумал я о Комарове. — Чего он там колобродит?» Но повернуться лень, а к тому же посмерклось, и у большого камня вновь заиграл черный тюлененок. Видение обрело странную устойчивость: чем дольше я смотрел, тем труднее было представить, что это всего лишь клочок тьмы.

— Комаров, в последний раз говорю, оставь Рыжика в покое! — вновь проскрипело за моей спиной. — Встань Комаров!

— А я ничего не делаю! — слышался сиповатый, недовольный голос.

Я оглянулся и уперся взглядом в пуп, похожий на отпечаток гривенника в песке. Неподалеку от меня стоял четырехлетний человек, совершенно голый, если не считать высокой белой панамы, лихо нахлобученной на одно ухо. Из-под панамы серьезно и чуть удивленно глядели два круглых бутылочного цвета глаза. Рожица у Комарова курносая, веснушчатая и самая продувная. Над Комаровым склонилась рослая, грузная женщина в зеленом шелковом платье. При малейшем ее движении жесткий шелк рассыпал сухой треск электрических разрядов. Позади воспитательницы, подставив солнцу спины с острыми уголками лопаток, лежали двадцать — двадцать пять сверстников Комарова.

— Ты зачем закладывал ногу на Рыжика! — негодуя воскликнула воспитательница, и в лад ее скрипучему голосу рассыпались трескучие искры шелка.

— А чего он лежит, как мертвый! — отозвался Комаров.

— Зачем ты кидал песок в глаза товарищам?

— Кто кидал? Я его сеял. Это ветер.

Мудрая обоснованность ответов Комарова явно ставила в тупик воспитательницу.

— Тяжелый мальчик! — вздохнула она.

— Я не тяжелый, — возразил Комаров и похлопал себя по животу. — Я после обеда тяжелый.

Подошла молодая женщина в белом халате с повязкой медсестры на рукаве и молча показала на часы.

— Подъем! Подъем! — закричала воспитательница и, как клуша крыльями, замахала короткими полными руками, родив настоящую электрическую бурю. — Одеваться и строиться.

В воздухе послушно замелькали кусочки ситца — короткие ребячьи трусики, посыпался песок из сандалий, и вот уже первые пары чинно подравниваются в затылок, и только Комаров, голый и сумрачный, не притронулся к одежде.

— А купаться кто будет? — хмуро бормотнул он как бы про себя.

— Во всяком случае, не ты! — съязвила воспитательница, но, видимо зная, что от Комарова так просто не отделаться, сочла нужным добавить: — Врач запретил купаться: вода слишком холодная.

— Дети могут простудиться? — серьезно спросил Комаров.

— Хватит разговоров, одевайся!

Комаров с ожесточением схватил трусики, но почему-то не надел их сразу, а сперва занял место в строю и лишь тогда, сделав из штанины кольцо, сунул в него ногу.

— Пошли!

Воспитательница хлопнула в ладоши, строй колыхнулся, двинулся и тут же пришел в замешательство. Писк, гам, волнение. Что случилось? Комаров споткнулся, повалил идущего впереди мальчика, тот, в свою очередь, опрокинул следующего. Воспитательница навела порядок. Новая команда — и новая свалка.

— Что с вами, дети?

— Комаров падает...

— Комаров, выйди из строя!

Комаров добросовестно пытается выполнить приказание, делает странный, укороченный шаг и падает в песок.

— Что с тобой, Комаров?

— Плохо мое дело, — сказал Комаров, поднялся, шагнул и вновь упал.

— Что это с ним? — В голосе воспитательницы отчаяние. — Неужели солнечный удар?

Товарищи Комарова очень довольны, они весело смеются, затем один из них говорит:

— Нина Павловна, он обе ноги в одну штанину сунул.

У воспитательницы, верно, никогда не было собственных детей. Она обескураженно смотрит на Комарова, точно не зная, как помочь беде, затем нагибается и неумело выпроставляет ногу Комарова из штанины.

— Зачем ты это сделал? — говорит она, распрямляясь.

— Так интересней, — спокойно и благожелательно поясняет Комаров и, вдруг осененный новой идеей, спрашивает: — Нина Павловна, а что такое человек?

— Не знаю, — раздраженно отмахнулась воспитательница, и я подумал, что она сказала правду.

Группа тронулась дальше и вскоре скрылась в прибрежном сосняке.

А через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я возвращался с моря по крутой песчаной улице. Вдоль правой ее стороны тянулась изгородь, дальше круто вверх забирал густой сосняк; по левую же сторону раскинулись пустыри войны, не обжитые до сих пор; они густо поросли папоротником и какими-то непривычного вида хвощами, едко пахнувшими скипидаром.

И вот когда я поравнялся со штакетником, одна из планок его вдруг сдвинулась в сторону, в широкой щели показалась маленькая, иссеченная белыми травяными порезами нога в сандалии, затем панамка, похожая на поварской колпак, загорелая, испачканная рука и, наконец, вся фигура моего пляжного знакомца. Он вылез, осмотрелся кругом — я почувствовал на себе его настороженный взгляд и сделал вид, что он меня нисколько не занимает. Тогда он

аккуратно поставил планку на прежнее место и залился долгим, торжествующим смехом. Не было никаких сомнений: Комаров совершил побег.



Каюсь, я не взял Комарова за руку и не отвел его к воспитательнице. Улица была помечена знаками, запрещающими проезд, и Комарову ничто не грозило, к тому же и я был рядом. Правда, воспитательница переживет несколько неприятных минут, но... поделом ей.

Мне приходилось несколько раз в день проходить мимо этого детского сада, и я убедился, что здешняя воспитательница явно не в ладах с природой. Она не доверяла молодым колючим сосенкам, кустарнику, приютившему густую тень, дальним уголкам сада, заросшим дикой малиной и ежевикой. Из всей обширной территории сада она оставила своим питомцам лишь гладкий пяточок крокетной площадки. И стоило кому-нибудь из ребят в погоне за жуком или просто в порыве любознательности нарушить запретную зону, как испуганный окрик немедленно настигал беглеца.

Конечно, так ей было куда удобнее блюсти своих питомцев, но мне казалось, что она слишком упрощает себе задачу. «Пусть Комаров погуляет на воле, — решил я и предоставил ему свободу. — Что-то он станет делать?»

Внизу, по приморскому шоссе, звонко сигналив на поворотах, пронеслись легковые машины, грузовики, тяжело осевшие автобусы, отчаянно тархтели мотоциклы, но Комарова, городского

ребенка, не привлекали знакомые городские шумы. Не обратил он никакого внимания и на спускающихся с горы велосипедистов, которые, держась рукой за седло, бежали вдогонку за своими позванивающими на неровностях дороги велосипедами...

Комарова привлекал девственный мир, и он заковылял на бугор. Неожиданности подстерегали его здесь на каждом шагу. Вот он наступил на какую-то дощечку, и из под нее с упругим щелчком выскочила зеленая сосновая шишка. Пролетев метра полтора, шишка приземлилась на краю дорожки, под кустом таволги, чуть поворочалась и улеглась спокойно. Это была цельная, крепенькая молодая шишка, верно, еще никогда не виденная Комаровым, потому что такие шишки прочно держатся на ветках, а по цвету неотличимы от хвои. К тому же она прыгала! Легким, крадущимся шагом Комаров приблизился к шишке и прихлопнул ее ладонью. Попалась! Он ощупал пальцами твердое ребристое тело шишки, но это не открыло ему тайны маленького зеленого кругляша.

— Ты разве умеешь прыгать? — спросил Комаров.

Не получив ответа, он решил испытать шишку: он положил ее на землю и отвернулся. Нет, шишка спокойно лежит на том же месте, она не делает ни малейшей попытки к бегству. Тогда Комаров зажал шишку в кулаке и в тот же миг увидел еще две такие же шишки под кустом таволги. Он хотел достать их и вдруг с болезненным криком отдернул руку: он острекался о крапиву, впутавшую свои колючие листья в ветку таволги. Комаров потер руку, полизал ее языком и вновь потянулся за шишками, внимательно следя за тем, откуда придет боль. Вот он коснулся цветка, отодвинул мягкий, морщинистый лист, и тут неприметный колючий страж опять вонзил ему в руку свои шипы...

Но на этот раз Комаров только поморщился. Он подполз под куст, осторожно отделил стебель крапивы и смелым движением вырвал его из земли. Колючки разом смялись под сильной хваткой и уже не смогли впиться в кожу. Это было настоящее открытие, и теперь Комаров легко овладел шишками. Но все три не поместились у него в кулаке, и он схоронил одну шишку под лопухом. Размахивая крапивой, он побрел вверх по улице.

Ноги его разъезжались в песке, к тому же путь ему преграждали большие округлые валуны, торчащие из земли. Комарову пришлось огибать каждый валун. Когда же он попытался пройти по гладкой поверхности камня, то немедленно поскользнулся. Комаров никому не давал спуска: он остановился и основательно высек камень крапивой. Не успел он закончить экзекуцию, как где-то наверху с отчаянным разливом промычал теленок. Комаров замер, затем, помогая себе руками, изо всех сил устремился вперед.

Примерно на половине подъема находился широкий уступ, справа он вдавался в сосняк, образуя небольшую поляну. Там пасся теленок, привязанный к осиновому пеньку. И вот посреди полянки встретились двое ребят: сын человеческий и рыжий младенец — бычок.

Хотя Комарову было столько же лет, сколько теленку месяцев, они могли считаться ровесниками. Но теленок знал, кто такой Комаров, а Комаров не знал, кто такой теленок. Бычок смотрел на мальчика кротко и равнодушно. Комаров смотрел на бычка с изумлением, готовым перейти в пылкую любовь.

— Ты кто такой? — спросил Комаров.

Теленок молчал, шевеля мягкими губами и перекатывая во рту жвачку. Тогда Комаров ответил сам себе:

— Ты большая собака.

Он протянул руку, чтобы погладить «большую собаку», но теленку не хотелось, чтобы его гладили, а быть может, его испугал стебель крапивы в руке Комарова, напоминавший ему хворостину, какой хозяйка загоняла его во двор. Он попятился, натянул веревку, затем скакнул в сторону.

— Чего ты? — укоризненно сказал Комаров и шагнул к теленку.

Но тому надоело отступать, он опустил лобастую голову с мокрым от вечерней росы завитком и двумя шерстистыми вздутиями на месте будущих рогов, вытянул шею и с угрожающим видом двинулся на Комарова.

Лицо мальчика страдальчески скривилось, он совсем не хотел ссориться. Но было что-то в характере этого человечка, что не позволяло ему отступить перед опасностью. Он тоже выставил вперед голову с двумя светлыми буграми на чистом высоком лбу, зажмурил глаза и прежде, нежели я успел вмешаться, кинулся на теленка лоб в лоб. Теленок не принял боя. Валко оступившись на своих прямых шатких ножках, он повернулся и кинулся прочь. Комаров с победным криком припустился вдогонку.

Веревка позволяла теленку бежать только по кругу, он бежал куда резвее Комарова и потому на втором круге увидел вдруг прямо перед собой спину своего преследователя. Комаров был в этот миг незащищен, но теленок, вместо того чтоб использовать свое преимущество, окончательно пал духом и отказался бороться с противником, который мог одновременно преследовать его и сзади и спереди. Он понуро остановился, вздохнул глубоко и печально, как умеют вздыхать лишь взрослые быки, и, прищлепнув губой длинную былинку, стал ждать решения своей участи.

Комарову пришлось проскакать целый круг, прежде чем он обнаружил, что враг приведен в покорность. Тогда он смело приблизился к теленку, похлопал его ладошкой по взмокшему боку, погладил его твердый, как камень, лоб, глаза под жесткими, вздрагивающими ресничками, мягкий, резиновый нос.

Теленок терпел все нежности победителя и только вздыхал.

— Что, боишься? — спросил Комаров, но этим ограничилась его месть, он даже добавил в утешение и поучение теленку: — Я тебя тоже боялся, а теперь не боюсь. — Он хитро прищурился: — А ты не большая собака. Не-ет! Ты маленькая коровка.

— Му-у! — печально отозвался теленок, заверяя Комарова, что он никогда больше не будет притворяться строптивым.

— До свидания, — сказал Комаров.

Он снова вышел на дорогу и вдруг замер, чуть шатнувшись назад, будто наскочил на невидимую преграду. Я сразу понял, что поразило Комарова: он ненароком оказался лицом к подножию склона, где в бесконечной глубине бесшумно и грозно пенился прибор.

Зеленый коридор улицы острой стрелой летел в море. Сладкое, щемящее чувство высоты, пространства и полета пронзило мальчика. Он замахал руками, запрыгал, потом стал выкрикивать какие-то непонятные, как в детской считалке, слова, наконец запел без слов и мелодии...

И вдруг песня смолкла: Комаров, словно бессильный вместить всю мощь впечатлений, повернулся и быстро заковылял прочь...

Лягушка, перескочившая ему дорогу, вернула Комарова к милой земной привычности. Он побежал за лягушкой и догнал ее у самой обочины. Когда тень мальчика накрыла лягушку, она замерла, выгнув спину. Комаров схватил ее и, повернув на спинку, стал рассматривать бледное брюшко. Он рассматривал долго, тыкал пальцем в упругую пленку. Верно, он искал комочек вара и стальной рычажок, с помощью которого скачет игрушечная лягушка. Но у этой живот был совсем гладкий, и Комаров задумался. Панама сползла ему на нос, но он не замечал этого, поглощенный новой загадкой жизни. Он чуть сжимал и разжимал ладонь и как будто к чему-то прислушивался. Лягушка не двигалась, ее длинные сухие ножки торчали из кулака мальчика двумя хворостинками, но, верно, все же его руке сообщился трепет жизни маленького тела.

— Живая! — засмеялся он и затем предложил с лукаво-восторженным выражением: — Давай водиться, а? Я тебя выпущу потом...

Лягушка не возражала и осталась в кулаке Комарова.

Теперь Комаров, взглядом опытного следопыта обозрел окрестный мир. На высоком песчаном срезе обнажились корни сосен, тонкие корневые волоски шевелились на ветру, извивались, пуская струйки песка, и, конечно же, Комарову потребовалось выяснить, живые они или только притворяются, играют в одушевленную, самостоятельную жизнь. Вот он уже шагнул к песчаному срезу, но ему не суждено было провести это последнее исследование.

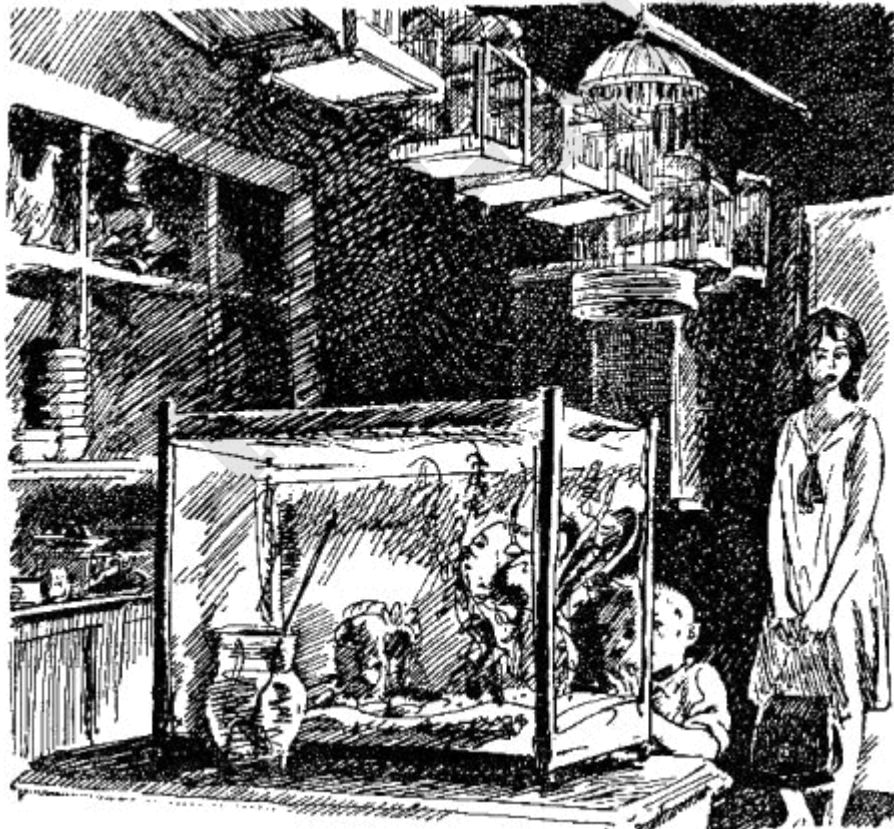
Со всех сторон, замыкая беглеца в железный круг, двигалась облава. Ведомые воспитательницей, шли ее младшие помощницы, нянечки, судомойки в белых фартуках, медсестра с красным крестом на рукаве и старик сторож в валенках.

— Вот он! — послышался крик, и с этим криком кончилась свобода Комарова.

Комаров не понимал, чего шумят все эти люди, чего так жалобно причитают. Он ощущал себя сильным и богатым, он хотел, чтобы всем было хорошо. И когда воспитательница приблизилась к нему, он широким, великодушным движением протянул ей всю свою добычу: стебель крапивы, две зеленые шишки и живую лягушку.



Старая черепаха



Вася втянул воздух, округлив ноздри, и до самой глубины его проняло крепким, душистым запахом зверя. Он поднял глаза. Над дверью висела небольшая вывеска, на ней пожухлыми от южного солнца красками было выведено: «Зоомагазин». За пыльным стеклом витрины мальчик

с трудом разглядел пыльное чучело длинноногой клювастой птицы.

Как плохо мы знаем улицы, по которым ходим изо дня в день! Сколько раз ходил Вася на пляж этой самой улицей, знал там каждый дом, фонарь, каштан, витрину, каждую выщерблину тротуара и выбоину мостовой, и вдруг обнаружилось, что самого главного на этой улице он не приметил.

Но думать об этом не стоит, скорее туда, в этот чудесный, таинственный полумрак...

Мать с привычной покорностью последовала за сыном. Тесный, темный магазин был необитаем, но, словно покинутая берлога, хранил живой, теплый дух недавних жильцов. На прилавке лежала горка сухого рыбьего корма, под потолком висели пустые птичьи клетки, а посреди помещения стоял подсвеченный тусклой электрической лампочкой аквариум, устланный ракушками; длинные, извилистые водоросли, слегка подрагивая, обвивали осклизлый каменный грот. Все это подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, похожему на кровеносный сосудик мотылю, который тихонько извивался, приклеившись к ребристой поверхности ракушки.

Вася долго стоял у аквариума, словно надеясь, что мертвое великолепие водяного царства вдруг оживет, затем понуро направился в темную глубь магазина. И тут раздался его ликующий вопль:

— Мама, смотри!

Мать сразу все поняла: такой же самозабвенный вскрик предшествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рыбками, клеток с певчими птицами, коллекции бабочек, двухколесного велосипеда, ящика со столярными инструментами...

Она подошла к сыну. В углу магазина на дне выстланного соломой ящика шевелились две крошечные черепашки. Они были не больше Васиного кулака, удивительно новенькие и чистенькие. Черепашки бесстрашно карабкались по стенам ящика, оскальзывались, падали на дно и снова, проворно двигая светлыми лапками с твердыми коготками, лезли наверх.

— Мама! — проникновенно сказал Вася, он даже не добавил грубого слова «купи».

— Хватит нам возни с Машкой, — устало отозвалась мать.

— Мама, да ты посмотри, какие у них мордочки!

Вася никогда ни в чем не знал отказа, ему все давалось по щучьему велению. Это хорошо в сказке, но для Васи сказка слишком затянулась. Осенью он пойдет в школу. Каково придется ему, когда он откроет, что заклинание утратило всякую силу и жизнь надо брать трудом и терпением? Мать отрицательно покачала головой:

— Нет, три черепахи в доме — это слишком!

— Хорошо, — сказал Вася с вызывающей покорностью. — Если так, давай отдадим Машку, она все равно очень старая.

— Ты же знаешь, это пустые разговоры.

Мальчик обиженно отвернулся от матери и тихо произнес:

— Тебе просто жалко денег...

«Конечно, он маленький и не повинен ни в дурном, ни в хорошем, — думала мать, — надо только объяснить ему, что он неправ». Но вместо спокойных, мудрых слов поучения она сказала резко:

— Довольно! Сейчас же идем отсюда!

Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камень представлялся ему маленькой золотистой черепашкой. Морские медузы и водоросли, касавшиеся его ног, когда он плавал у берега, также были черепашками, которые ластились к нему, Васе, и словно напрашивались на дружбу. В своей рассеянности мальчик даже не ощутил обычной радости купания, равнодушно вышел из воды по первому зову матери и медленно побрел за ней следом. По дороге мать купила его любимый розовый виноград и протянула тяжелую гроздь, но Вася оторвал одну только ягоду и ту позабыл съесть. У него не было никаких желаний и мыслей, кроме одной, неотвязной, как наваждение, и, когда они пришли домой, Вася твердо знал, что ему делать.

Днем старая черепаха всегда хоронилась в укромных местах: под платяным шкафом, под диваном, уползала в темный, захламленный чулан. Но сейчас Васе повезло: он сразу обнаружил Машку под своей кроватью.

— Машка! Машка! — позвал он ее, стоя на четвереньках, но темный круглый булыжник долго не подавал никаких признаков жизни. Наконец в щели между щитками что-то зашевелилось, затем оттуда высунулся словно бы птичий клюв и вслед за ним вся голая, приплюснутая голова с подернутыми роговой пленкой глазами мертвой птицы. По сторонам булыжника отросли куцые лапы. И вот одна передняя лапа медленно, будто раздумывая, поднялась, слегка вывернулась и со слабым стуком опустилась на пол. За ней, столь же медленно, раздумчиво и неуклюже заработала вторая, и минуты через три Машка выползла из-под кровати.

Вася положил на пол кусочек абрикоса. Машка вытянула далеко вперед морщинистую, жилистую шею, обнажив тонкие, также изморщиненные перепонки, какими она прикреплялась к своему панцирю, по-птичьи клюнула дольку абрикоса и разом сглотнула. От второй дольки, предложенной Васей, Машка отвернулась и поползла прочь. В редкие минуты, когда Машке приходила охота двигаться, ее вытаращенные глаза не замечали препятствий, сонным и упрямым шагом, мерно переваливаясь, шла она все вперед и вперед, стремясь в какую-то, ей одной ведомую даль.

Не было на свете более ненужного существа, чем Машка, но и она на что-то годилась: на ней можно было сидеть и даже стоять. Вася потянулся к Машке и прижал ее рукой; под его ладонью она продолжала скрести пол своими раскоряченными лапами. Ее панцирь, состоящий из неровных квадратиков и ромбов, весь словно расшился от старости, на месте швов пролегли глубокие бороздки, и Вася почему-то раздумал на нее садиться. Он поднял Машку с полу и выглянул в окно. Мать лежала в гамаке, ее легкая голова даже не примяла подушки, книга, которую она читала, выпала из ее опущенной вниз руки. Мать спала. Вася спрятал Машку под рубаху и быстро вышел на улицу.

Над поредевшим, полусонным от жары базаром высоко и печально звучал детский голос:

— Черепаха! Продается черепаха!

Васе казалось, что он стоит так уже много-много часов; прямые, жестокие лучи солнца пекли

его бедную неприкрытую голову, пот стекал со лба и туманил зрение, каменно-тяжелая Машка больно оттягивала руки. Во всем теле ощущал он томительную, ломящую слабость, его так и тянуло присесть на пыльную землю.

— Черепаха! Продается черепаха!

Вася произносил эти слова все глуше, он словно и боялся и хотел быть услышанным. Но люди, занятые своим делом, равнодушно проходили мимо него; они не видели ничего необычного в том, что для Васи было едва ли не самым трудным испытанием за всю его маленькую жизнь. Если бы вновь очутиться в родном, покинутом мире, где ему так хорошо жилось под верной маминой защитой!

Но едва только Вася допускал себя до этой мысли, как родной дом сразу утрачивал для него всю прелесть, становился немилым и скучным: ведь тогда пришлось бы навсегда отказаться от веселых, золотистых черепашек.

— Ого, черепаха! Вот это-то мне и надо!

Вася так углубился в себя, что вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил Машку из рук. Перед ним стоял рослый, плечистый человек, видимо портовый грузчик, и с каким-то детским восхищением глядел на старую черепаху.

— Продаешь, малец?

— Да...

— Сколько просишь?

— Девять... — смущенно сказал Вася, припомнив цену, какую в зоомагазине просили за двух черепашек.

— Девять? А меньше не возьмешь?

— Не могу... — прошептал Вася, ему было очень стыдно.

— Ну, коли не можешь, плачу! У меня, понимаешь, сынишка завтра домой, на Тамбовщину, уезжает, так охота ему что-нибудь эдакое подарить...

Грузчик порылся в карманах и достал две зеленые и одну желтую бумажку.

— Нет у меня с собой девяти, понимаешь, — сказал он озабоченно, — ровно семь.

Вася был в отчаянии, он не знал, чем помочь этому большому и, видимо, доброму человеку. «Никогда-никогда больше не буду я торговать».

— Постой-ка, малец, — нашелся вдруг грузчик, — я тут близко живу, зайдём ко мне, я тебе вынесу деньги!..

И вот они вместе зашагали с базара. Вася был очень счастлив, все так хорошо вышло, он был горд своим первым жизненным свершением, к тому же ему нравилось шагать сейчас рядом с этим сильным и мужественным человеком, как равному с равным. Справа, в прозоре улицы, открылось полуденное море, и на его сверкающем фоне Вася увидел, как железные руки кранов трудятся над маленьким суденышком, стоявшим у причала. Огромные мягкие тюки один за другим спускались с неба на палубу, мальчику казалось странным, что суденышко не

тонет под всем этим грузом. Он хотел было спросить своего спутника, в какие края отплывает пароход, но не успел.

— Вот и пришли, малец. Обожди тут, я мигом!

Вася стоял перед белым одноэтажным домиком, окруженным густо разросшимися кустами акации. Ему показалось странным, что такой большой человек живет в таком маленьком домике, но он тотчас забыл об этом и стал внимательно вглядываться в окна, расположенные по фасаду. Ему очень хотелось увидеть мальчика, которому достанется Машка.

— Эх, жаль, сынишки нет дома, — сказал, появившись, грузчик, — а то познакомились бы. Он у меня самостоятельный, такой вот, как ты, малец. На, принимай монету! Да ты посчитай, денежки счет любят!

— Нет, зачем же... — пробормотал Вася и протянул покупателю Машку.

Тот взял ее в свои большие ладони и приложил к уху, словно часы.

— А она не пустая внутри-то?

Машка, как назло, не показывалась из своего каменного жилища, и Васе даже стало обидно, что она так равнодушно с ним расстается. А грузчик, примостив черепаху против глаз, заглядывал в щель между щитками.



— Нет, вроде что-то там трудится! Ну, бывай здоров, малец, спасибо тебе.

— Вот что, ее зовут Машкой... — вдруг быстро и взволнованно заговорил Вася. — Она очень фрукты любит и молоко тоже пьет; это только считается, что черепахи не пьют молока, а она пьет, правда, пьет...

— Ишь ты, — усмехнулся грузчик, — простая тварь, а туда же!

Он сунул Машку в широкий карман своей куртки и пошел к дому. А Вася растерянно глядел ему вслед. Он хотел еще очень много рассказать о Машке, о ее повадках, капризах и слабостях, о том, что она хорошая и добрая черепаха и что он, Вася, никогда не знал за ней ничего плохого. В носу у него странно пощипывало, но он нахмурил брови, задержал на миг дыхание, и пощипывание прекратилось. Тогда он крепко зажал в кулаке деньги и со всех ног бросился к зоомагазину.

Когда Вася принес домой двух маленьких черепашек и в радостном возбуждении поведал матери о всех своих приключениях, она почему-то огорчилась, но не знала ни что сказать, ни как поступить в этом случае. А раз так, лучше обождать и подумать, ведь дети — такие сложные и трудные люди...

— Да, да, — только и сказала она задумчиво и печально, — милые зверушки.

Вася не заметил, как прошла вторая половина дня. Малыши были на редкость забавные, смелые и любознательные. Они оползали всю комнату, двигаясь кругами навстречу друг другу, а столкнувшись, не сворачивали в сторону, а лезли друг на дружку, стучаясь панцирем о панцирь. Не в пример старой, угрюмой Машке они не стремились забиться в какой-нибудь потайной угол, а если и хоронились порой, то это выглядело как игра в прятки. И привередами они тоже не были: чем бы ни угощал их Вася — яблоками ли, картошкой, виноградом, молоком, котлетой, огурцом, — они все поглощали с охотой и, тараща бусинки глаз, казалось, просили еще и еще.

На ночь Вася уложил их в ящик с песком и поставил на виду, против изголовья своей кровати. Ложась спать, он сказал матери счастливым, усталым, полусонным голосом:

— Знаешь, мама, я так люблю этих черепашек!

— Выходит, старый-то друг не лучше новых двух, — заметила мать, накрывая сына одеялом.

Бывают слова, как будто простые и безобидные, которые, будучи сказаны ко времени, вновь и вновь возникают в памяти и не дают тебе жить. В конце концов Машка даже и не друг ему, Васе, а просто старая, дряхлая черепаха, и ему вовсе не хочется думать о ней. И все-таки думается ему не о том, какой вот он молодец, что сумел раздобыть этих двух веселых малышей, с которыми так интересно будет завтра играть, а все о той же никудышной Машке. Думается тревожно, нехорошо...

Почему не сказал он тому человеку, что на ночь Машку надо прятать в темноту? А теперь, наверное, зеленый свет месяца бьет в ее старые глаза. И еще не сказал он, что к зиме ей надо устроить пещерку из ватного одеяла, иначе она проснется от своей зимней спячки, как это случилось в первый год ее жизни у них, и тогда она может умереть, потому что в пору спячки черепахи не принимают пищи. Он даже не объяснил толком, чем следует кормить Машку, ведь она такая разборчивая...

Конечно, он может завтра же пойти и все сказать, но захотят ли новые хозяева столько возиться со старой Машкой? Правда, тот человек, кажется, очень добрый, утешал себя Вася, наверное, и сын у него такой же добрый. Но успокоение не приходило. Тогда он натянул одеяло на голову, чтобы скорее уснуть, но перед ним вновь возникли голые, немигающие птичьи глаза Машки, в которых отражался беспощадный зеленый свет месяца.

Вася сбросил одеяло и сел на кровати. Он уже не испытывал ни жалости к Машке, ни раздражения против матери, отказавшейся держать в доме трех черепах. Все это вытеснялось в нем каким-то непонятным, болезненным чувством недовольства собой, обиды на себя. Это чувство было таким большим и незнакомым, что оно не помещалось в Васе, ему нужно было дать выход, и Вася попытался заплакать. Но ничего не получилось, это горькое, едкое чувство высушило в нем все слезы.

Впервые Васе перестало казаться, что он самый лучший мальчик в мире, достойный иметь самую лучшую маму, самые лучшие игрушки, самые лучшие удовольствия. «Но что я такое сделал? — спрашивал он себя с тоской. — Продал старую, совершенно ненужную мне черепаху». — «Да, она тебе не нужна, — прозвучал ответ, — но ты ей нужен. Все, что есть хорошего на свете, было для тебя, а ты для кого был?» — «Я кормлю птиц и рыб, я меняю им воду». — «Да, пока тебе с ними весело, а не будет весело, ты сделаешь с ними то же, что и с Машкой». — «А почему же нельзя так делать?»

Вася не мог найти ответа, но ответ был в его растревоженном сердце, впервые познавшем простую, но неведомую прежде истину: не только мир существует для тебя, но и ты для мира.. И с этим новым чувством возникло в нем то новое неотвратимое веление, название которого — долг — Вася узнает гораздо позднее. И это веление заставило Васю вскочить с кровати и быстро натянуть одежду.

Свет месяца лежал на полу двумя квадратами, перечеркнутыми каждый черным крестом. В тишине отчетливо тикали мамины крошечные ручные часики. Разбудить маму? Нет, сказала Васе его новое, мягкое, горячее сердце: мама устала, и ей так трудно бывает уснуть. Ты сам должен все сделать...

Вася нащупал ящик и достал черепашек, два гладких, тяжелых кругляша, как будто налитых ртутью. Но этого может оказаться мало, а он должен действовать наверняка. Сунув черепашек под рубашку, Вася отправил туда же коробку с новыми оловянными солдатиками, затем подумал, снял с гвоздя ружье и повесил его через плечо.

Выйдя из комнаты, мальчик тихонько притворил за собой дверь. Он и раньше подозревал, что ночью в мире творятся странные дела, и сейчас с каким-то замирающим торжеством сказал себе: «Так я и знал», увидев, что яблоневого садика подкрался почти к самому крыльцу, а флигелек, в котором жили хозяева, отвалился в черную, затененную глубь двора.

По двору носились щенки старой Найды, и каждый щенок катил перед собой черный клубок своей тени. Ласковые и приветливые днем, они не обратили ни малейшего внимания на Васю, занятые своим ночным делом. Только сама Найда, втянув ноздрями Васин запах, глухо заворчала и звякнула цепью. Чувство незнакомой враждебности мира тоскливо щемило сердце мальчика.

Трудным шагом приблизился Вася к деревьям, побеленным луной. Не было ни малейшего ветерка, но все листочки на деревьях шевелились, шорох и слабый скрип стояли над садом, будто деревья сговаривались о чем-то своем, ночном. И Васе вспомнилась его придумка, будто деревья по ночам ходят купаться в море. Он придумал это вполусерьез, удивленный тем, что за

все их пребывание в здешнем крае ни разу не выпал дождь, а ведь деревья не могут жить без влаги. Но сейчас эта придумка неприятно охолодила ему спину.

Что-то пронеслось мимо его лица, задев щеку легким трепетанием крыльев. Летучая мышь? Нет, летучая мышь распарывает тьму с такой быстротой, что ее скорее угадываешь, чем видишь. А сейчас он успел заметить за частым биением крыльев толстенькое веретенообразное туловище.

«Мертвая голова!» — догадался Вася и тотчас же увидел ее: большая бабочка, сложив треугольные крылья, уселась на ствол яблоньки, освещенный, как днем. На ее широкой спинке отчетливо рисовался череп с черными пятнами глазниц и щелью рта. Неутомимый ночной летун был в его руках, отныне его коллекция пополнится новым, крупным экземпляром. Вася уже почувствовал, как забьется, щекоча ладонь, накрытая рукой гигантская бабочка. Но полный какого-то нового, бережного отношения ко всему живому, Вася подавил в себе чувство охотника и лишь погладил мизинцем вощеную спинку бражника. Словно доверяя ему, бражник не сорвался в полет, а сонно пошевелил усиками и переполз чуть выше. На своем коротком пути он задел спящего на том же стволе жука. Жук приподнял спинные роговицы, почесал одну о другую задние ножки и, не вступая в спор, — места на всех хватит, — чуть подвинулся, да только неумело: отдал ножку своей соседке, какой-то длинной сухой козявке. И вот десятки мелких существ заворошились на стволе яблоньки и снова улеглись спать.

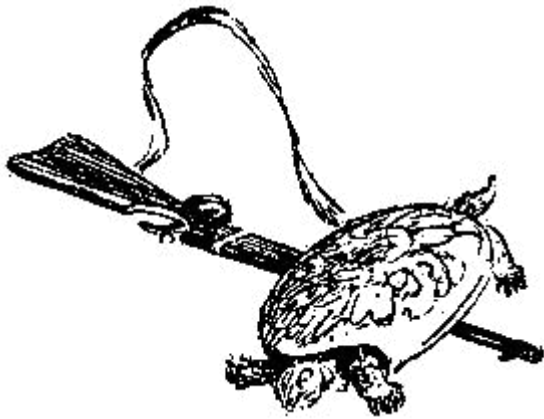
Вася с улыбкой наблюдал их сонную кутерьму, он даже не подозревал, что их так много здесь, на этом тонком стволике. Хоронятся, таятся днем, сколько силенок тратят, чтобы уберечься от него, Васи, а сейчас — нате-ка! — разлеглись во всей своей незащитности. И он мысленно пожелал им спокойной ночи, как старший собрат по жизни.

Вася вышел на улицу спокойным и уверенным шагом сильного и доброго человека, но он еще далеко не стал хозяином ночи. Луна высоко стояла на небе. Залитая ее светом, холодно и странно светилась бледная ширь улицы. А на дальнем ее конце вздымалась глухая черная стена, рассеченная серебряной щелью. «Море!» — вспыхнула догадка. Днем плоское, как вода в блюде, море стало сейчас на дыбы, грозно нависло над городом. Вася оглянулся на калитку.

«Не смей!» — сказал он себе и заставил себя думать о том, куда и зачем он идет, и думал до тех пор, пока тело его стало послушно не страху, а этой большой и важной мысли...

Возможно, что мать сквозь сон уловила какой-нибудь непривычный шум или почувствовала тревожную пустоту комнаты, в которой больше не было ее сына. Она встала, натянула платье, нащупала босой ногой туфли и подошла к Васиной постели. Одеяло лежало комком, простыня хранила маленькую вдавленку, след его тела. Мать заглянула в черепаший ящик — черепашек не было, и она сразу все поняла. Набросив на плечи плащ, она вышла из дому и быстро зашагала туда, где, по рассказу Васи, находился белый домик с палисадником. Вскоре она увидела впереди фигурку сына.

Вася шел по середине улицы, обсаженной густыми темными каштанами. Он казался таким крошечным на пустынной мостовой, под высокими деревьями, что у нее сжалось сердце, и, чтобы побороть это ненужное сейчас чувство, она стала смотреть на его длинную, будто бы взрослую тень, тень солдата с ружьем за спиной. Она шла и думала о том, что очень трудно вырастить человека, для этого надо глубоко и трудно жить, и какое счастье, если у ее мальчика будет сильное и верное сердце. Мать не окликнула Васю, она решила охранять его издали, чтобы не помешать первому доброму подвигу своего сына...



Мальчики



Подмосковный июльский сад. Раскаленное добела солнце валом валит свой жар на свежепокрашенную крышу дачи с затейливыми башенками по углам, на густую, темную зелень кустов и деревьев, на посмуглевшую от сухотья траву. Завороженные зноем, недвижимы старые клены и молодые дубки, лишь бузина порой вздрагивает всеми своими черными листочками, словно пытаясь стряхнуть сонную одурь. Верно, в плетении ее ветвей хлопочет над своим гнездом какая-то пичужка.

Над клумбой басовито гудит шмель, кузнечик вытачивает тонкий, сухой стрекот; словно уключина медленной плоскодонки, поскрипывает в железных петлях гамак на соседнем участке, и эти мерные, однообразные звуки лишь подчеркивают дремотную тишину дачного послеполудня.

Два мальчика, сидя на огромном поверженном пне, играют в самолет. От души играет только Саша. Он азартно, во весь мах делает быстрые вращательные движения левой рукой — винтом, а правой то и дело хватается за корни пня, изображающие — смотря по надобности — штурвал, приборы, трубки кислородного аппарата. Ведь самолет приближается к Северному полюсу, и у пилота немало забот. А Митя сидит верхом на толстом стволе и ничего не делает. Ему хотелось бы не спеша пережить все перипетии дальнего и дерзкого перелета, но Саша не дает ему

времени, и следующие одно за другим события вызывают у Мити какое-то мучительное чувство. К тому еще знойная истома дня действует на него усыпляюще...

— Самолет обледенел! — слышится сурово-взволнованный Сашин голос.

Митя вздрагивает, дремота сразу оставляет его.

— Давай я сколю лед, — говорит он со вздохом.

— Что ты! — восклицает Саша. — Это же технически невозможно! Придется тебе прыгать.

— Куда еще прыгать?

— С парашютом на льдину. Вон, видишь, там огромное ледяное поле?

— Ну, вижу, — неохотно соглашается Митя. — Выходит, ты один откроешь Северный полюс?

— Сперва один, а потом приду за твоим телом на лыжах. В тебе будут слабые признаки жизни, я взвалю тебя на плечи, и мы еще раз вместе откроем полюс...

С Сашей невозможно спорить, он всегда знает, чего хочет, а Митя теряется в многообразии возможностей и желаний.

И вот Митя покорно слезает с пня.

— Мог бы и упасть... — недовольно говорит Саша и вдруг умолкает.

Внезапно, без видимой причины, мальчики ощутили острое чувство тревоги, разлившейся над безмятежным дачным миром. Почти ничего не изменилось вокруг них, лишь быстрее заскрипел, взвизгнул и стих гамак, какие-то световые пятна сместились на соседних дачах да глухо прихлынул и откатился гул человеческих голосов. И раньше чем мальчиков окликнули с дачи, они знали: случилась беда.

— Ребята! — послышался с террасы голос Митиной бабушки. — Сейчас же домой!

Из стада убежал бешеный бык — это все, что можно было понять в первые минуты из взволнованных пересудов взрослых. Но постепенно мальчики узнали все подробности несчастья.

В стаде ходил большой серый бык. Это был очень сильный, но смиренный бык, пока ему не продели железное кольцо в нос. Такое кольцо положено носить каждому быку, но этот почему-то задурил. Когда стадо пригнали на приречную луговину, он стал задирать коров, потом погнался за годовалым бычком. Старший пастух пытался поймать его за веревку, привязанную к кольцу, тогда бык обратился против пастуха. Он сшиб его с ног и стал катать. Пастух притворился мертвым, а мальчик-подпасок, чтобы отвлечь быка, ожег его по ногам бичом. Бык бросился на подпаса, поднял его на рога и швырнул на землю...

Все это видели купавшиеся неподалеку дачники. Наскоро одевшись, они кинулись в поселок. Бык некоторое время постоял, словно в раздумье, затем протяжно заревел и трусцой побежал за ними следом. Теперь он уже в поселке, если только его не поймали.

— Ой, как жалко подпаса! — сказал Саша и так сжал кулаки, что побелели косточки суставов. — Помнишь ты его, Митя?

Еще бы Мите его не помнить! Подпасок заходил однажды к ним на дачу попить воды. Это был дочерна загорелый, крепкий паренек лет четырнадцати. Через плечо у него висел настоящий пастушеский бич, витой из толстых веревок, все утончавшийся и к концу переходивший в крученую волосяную нить. Он дал Мите подержать гладкое, отполированное ладонями кнутовище. Но когда Митя захотел щелкнуть, бич свернулся кольцом и упал у самых его ног. Подпасок снисходительно усмехнулся, взял бич и коротким, резким рывком извлек из него острый, звонкий щелк.

— А ну, попробуй-ка ты, — протянул он бич Саше, — у тебя должно получиться.

Трудно сказать, почему подпасок решил, что у Саши получится, но у Саши действительно получилось: бич затейливой, извилистой змейкой взлетел кверху, короткий рывок вниз и громкий, как выстрел, щёлк. Что делать — Саше все удастся, вещи с такой охотой открывают ему свои тайны, недоступные Мите!

Уходя, подпасок пожал Сашину руку, а Мите только подмигнул блестящим и круглым, как копейка, глазом. Он шел с небрежным перевальцем, длинный его бич волочился по траве...

Конечно, Мите было сейчас очень жаль подпаска, но это чувство не было таким цельным и определенным, как бы хотелось и какое, верно, испытывал Саша. Мешало какое-то едкое любопытство ко всему событию в целом. Мирное зеленое пастбище, солнце, тишина — ничто не предвещает близкой беды. И вдруг громадный зверь с ревом мчится по полю, разбрасывая во все стороны белые хлопья пены. Вот он опрокидывает навзничь и перекатывает по земле человека — старшего пастуха, — обдавая его своим жарким, горячечным дыханием...

Случись это с ним, Митей, хватило бы у него духу под рогами и копытами свирепого зверя притвориться мертвым?

Тут Митя останавливает бег своего воображения: для полноты картины ему необходимо более отчетливо представить себе облик этого большого серого быка. Он никогда ранее его не встречал. Стадо водили другой улицей; в вечернюю пору до их дачи часто доносилось протяжное мычание, глухой топот, тяжелое дыхание возвращающихся с пастбища коров. Видеть стадо Мите довелось лишь однажды, сквозь сетку начинающегося ливня. Вместе с бабушкой бежал он из лесу, опережая идущую со всех сторон грозу. Там, где находилось стадо, гроза уже началась, дождь мутной стенкой наступал от поймы на дачный поселок. Коровы терпеливо сносили ливень: одни лежали, другие стояли, понуриив большие головы, и было в них что-то сиротливое. Если бы он высмотрел тогда среди них серого быка! Но разве можно было представить себе, что в этом кротком стаде родится злодеяние и одно из смутно темнеющих сквозь завесу ливня покорных животных станет источником такой беды.

— Слушай, Митя, какую я штуку придумал!

Звонкий Сашин голос пробудил Митю от его размышлений, словно от глубокого сна. Он был уверен, что никого рядом нет и он совсем-совсем один.

— Да слушай же ты, что я придумал: давай играть в бешеного быка!

Глаза Саши под длинными, загнутыми, как у девочки, ресницами блестели, он весь дышал свежей и бодрой силой. Ну, конечно же, Саша прав! И как только сам он, Митя, не догадался: надо устроить охоту на бешеного быка, отомстить за подпаска!..

— Беги за ружьем, ты будешь охотником и убьешь быка! — распорядился Саша.

Пораженный таким невиданным великодушием, Митя преданно взглянул на друга и со всех ног кинулся за ружьем.

Когда он вернулся, Саша уже принял образ быка: на спину набросил источенную молью медвежью шкуру, к голове, над ушами, привязал два фруктовых ножа. Увидев Митю, Саша страшно заревел и тут же забодал диван, комод и затем качалку, опрокинув ее верх полозьями. Он носился по комнате, как черный вихрь, и Митя невольно поддался очарованию этой стремительной, слепой, нерассуждающей силы. Наконец, опомнившись, он раз, другой и третий разрядил в бешеного быка свое деревянное ружьецо.

— Ты ранен! — кричал Митя. — Я застрелил тебя! Ты убит наповал!

Но бык не принимал эту условную смерть. Все больше свирепея, он обратился наконец против самого охотника. Отступая под его напором, Митя оказался вскоре зажатым в угол между стеной и комодом. Он видел перед собой два блестящих смертоносных рога, склоненную, изготовившуюся к удару голову быка, налитые кровью глаза, белые хлопья пены разлетались с тупой каменной морды...

«Так вот почему Саша сделал меня охотником!» — сказал себе Митя, «умирая», и тут вспомнил, что в пылу борьбы забыл притвориться мертвым.

— Все, — заявил Саша, отнимая у Мити ружье. — А теперь пойдем узнавать про быка...

Оказалось, что подпасок жив и отделался лишь пустяковой трещиной в ребре. Но то была единственная отрадная новость. Совершив свои первые преступления, бык направился к полустанку. Разогнав своим появлением народ, бык подошел к будочке фотографа и стал тереться о нее боком. Легкая будочка опрокинулась вместе с упрятавшимся в нее фотографом. Бык глянул удивленно, затем подошел к холсту, на котором были намалеваны замок, пальмы и дирижабль в небе, и легонько ткнул его рогами, распоров полотно.

Неизвестно, что бы еще он натворил, но тут из летнего сада подоспел милиционер и открыл стрельбу из револьвера. Возможно, милиционер хотел только пугнуть быка, но тот снова пришел в неистовство. Разметав стоявшие близ полустанка лотки, он ринулся прямо на стрелка, едва успевшего укрыться в здании полустанка...

— Теперь-то быку недолго осталось гулять, — заключил кто-то из взрослых. — Из колхоза прибыли люди, они его враз окоротят.

— А что, они убьют его? — с зажегшимися глазами спросил Саша. — Облаву устроят?

— Как же, по всем воинским правилам...

Послышалось тарыхтение мотоцикла, и к даче подкатил парень с охотничьим ружьем за спиной. Подбежав к крыльцу, где столпилось все взрослое население дачи, он велел покрепче запереть ворота и калитку и никому не выходить на улицу. На взволнованные расспросы парень ответил, что быка «будут брать» как раз на этой улице. Засада расположилась в сотне шагов отсюда, там, где улица, сужаясь, переходит в лесную просеку.

— Бык скоро пройдет мимо вас! — Парень сделал под козырек и побежал к мотоциклу.

Легко перекинув ногу через седло, он что-то крутнул, что-то нажал и умчался на своем оглушительно тарыхтящем бензиновом коньке. И тотчас по всей даче оглушительно захлопали щеколды, задвижки, ставни, болты, крючки...

— Митя, — каким-то самозабвенным, глубоким голосом произнес Саша, — давай сами уьем быка!

— Из рогатки? — насмешливо отозвался Митя. Ему надоел условный мир, в который с таким упорством тянул его Саша.

— Из хозяйского дробовика, он заряжен...

— Нам же влетит, Саша!

— Пускай влетит!

Саша схватил Митю за руку и увлек за собой. Они оказались у небольшого чуланчика близ кухни, где хозяин дачи хранил свой охотничий инвентарь. Саша толкнул дверку, пошарил в темноте и вытащил старое охотничье ружье. У Мити гулко забилося сердце. Это была уже не игра: грозное, таящее смерть оружие. У него даже не шевельнулось сомнение, можно ли зарядом дроби уложить огромного, могучего зверя.

По шаткой, скрипучей лестнице мальчики поднялись на чердак. Изъеденные жуками-дровосеками наподобие сот, толстые столбы поддерживали двускатный навес, по углам висели серые, лохматые тряпки паутины. Чердак глядел на улицу полукруглым окошком с ветхой рамой, заколоченной ржавыми гвоздями. Саша повыбрал из нижнего окошка кусочки треснувшего стекла, просунул ствол наружу и, став на одно колено, примерился к выстрелу.

Митя поймал себя на том, что задерживает дыхание, словно боясь спугнуть напряженную, затаившуюся тишину дачи. Он шумно вдохнул и выдохнул воздух. А улица по-прежнему была пустыня. Уж не избрал ли бык другую дорогу? И тут Митя еле сдержал крик: он увидел быка у самой дачи. Почему-то ему казалось, что бык пойдет серединой улицы, а тот шел по пешеходной дорожке, и хвост его колотил по планкам забора.

Бык был на редкость крупен и статен. Огромная, буграстая грудь, провисшая между короткими и крепкими передними ногами, железный загривок, легкий, сухой, весь перетянутый сухожилиями круп, мощные задние ноги. Особенно великолепна была голова: большая, лобастая, умная.

— Стреляй же, стреляй! — горячо зашептал Митя.

Ствол ружья ерзал по подоконнику, словно Саша никак не мог взять быка на мушку.

— Стреляй же! Ну почему же ты не стреляешь?

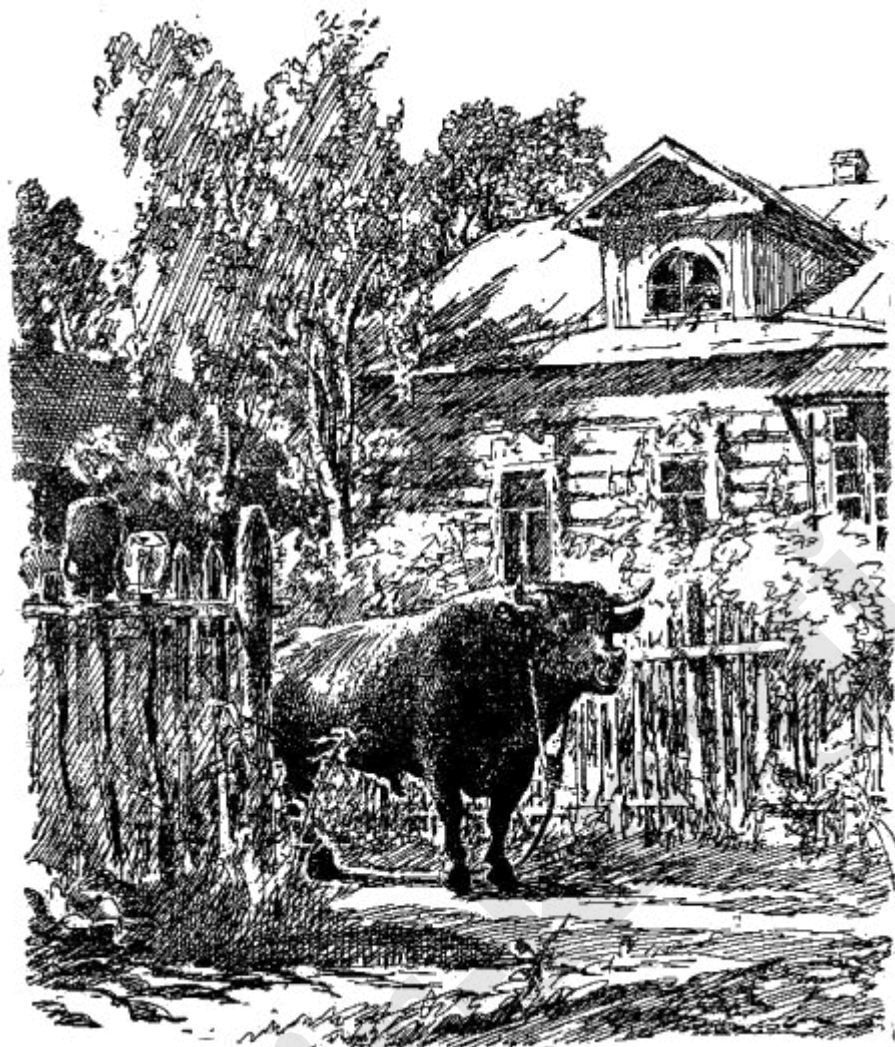
Он испытывал азартное чувство робкой души, на миг приобщенной к чужому смелому делу.

Саша поднялся с колен. Лицо его было бледно, жалкая, коротенькая улыбочка дергала уголок губ:

— На, стреляй сам.

Митя схватил ружье и стал на Сашино место. По стволу до прорези мушки тянулась тонкая нить солнечного блика, и когда Митя водил стволом, нить упиралась то в твердое, с курчавым волосом междурожье, то в жирный бугор загривка. Став хозяином жизни и смерти быка, мальчик уже не ощущал прежнего нетерпеливого желания покончить с ним. Все оказалось не так-то просто...

Бык, видимо, много перенес за этот день, он вовсе не походил на героя. Ребра его торчали, как ободья на деревянной бочке, от хребта растекался по бокам черный пот, один рог был расщеплен и трухлявился на месте расщепа. Посреди лба у него была красная ссадина, кровь стекала по морде и ноздре, где продета было кольцо, длинная веревка путалась под ногами.



Он то и дело останавливался, нагибая шею, приводя в действие весь сложный аппарат своих мускулов, оглядываясь по сторонам и назад. Похоже было, что он не прочь повернуть вспять, и только память о преследователях мешала ему исполнить свое намерение. И тогда он снова, как обреченный, опускал голову и медленно брел вперед...

— А вдруг он вовсе не бешеный? — Это неожиданно для себя сказал Митя и оглянулся на Сашу.

— Я сам об этом подумал, потому и не мог... Понимаешь, он просто ошалел от боли, когда ему проделали кольцо! — Резко очерченный рот Саши толчками выбрасывал жар дыхания. — А потом... потом он боролся, он не хотел, чтобы его убивали...

Саша был бледен, и особенно большими казались его влажные черные глаза под страдальчески сломленными бровями.

— Если его убьют, — добавил он тихо, словно про себя, — как же тогда жить дальше...

Гримаса душевной боли сделала красивое лицо Саши по-взрослому выразительным. Митя с завистью глядел на своего друга. Он бы дорого дал, чтобы стать таким же прекрасно-

печальным, как Саша! Он знал, что на его собственной плоской роже с приплюснутым носом и растянутой по скулам кожей никак не отражается то, что он чувствует; недаром окружающие всегда ошибаются, весело ему или грустно...

Подавленный, Митя отвернулся от Саши и стал смотреть на улицу.

Бык медленно и понуро, словно тяжелобольной, двигался вдоль забора. Вот он потянулся к траве, растущей у дороги, но тут же вскинул голову, скользнул глазом по тихой, пустынной окрестности, издал короткое одинокое и потерянное мычание и тут же смолк.

Мите представилось, что быку очень хочется заключить мир с людьми, но он не знает, как это сделать. Верно, он согласен и на кольцо, только бы вернуться к своим коровам, слушать тихую жвачку, и самому жевать, и отрыгивать, и снова жевать, размачивая в слюне суховатую, но вкусную июльскую траву. Или, зайдя по брюхо в реку, тянуть холодную воду, тянуть не спеша и небрежно, пусть капли стекают с морды — такого корыта все равно не осушишь, — и чувствовать, как омыают прохладные струи разгоряченные, тяжело опадающие при выдохе бока...

Митя провел рукой по глазам, прогнал короткую слепоту: бык стоял у самых ворот их дачи и, задирая голову, пытался заглянуть во двор. Его черные ноздри раздувались, он жадно втягивал воздух.

— Мы спасем его, Митя! — звонко сказал Саша, и в голосе его была прежняя, покоряющая уверенность. — Мы откроем ему ворота и впустим во двор, а там — пусть только попробуют его тронуть!

Саша еще что-то говорил, торопливо, вздохнул, но Митя уже не слышал его. С ним творилось что-то странное, необычное. Его шаткие, вечно вразброд, вечно в смуте чувства разом слились и нечто большое, сильное, цельное. Этот новый и цельный Митя не знал сейчас ни страха, ни колебаний, он ни в чем не уступал Саше.

Дача была заперта, им оставался один путь — через чердачное окно. Менее чем за минуту мальчики высадили старую раму, которая едва держалась на поржавевших гвоздях. Рядом с окошком приходилась водосточная труба. С узкого карниза Саша легко перебрался на трубу и, обвив ее ногами, заскользил вниз. Вслед за ним, обдирая грудь, ноги и ладони о сухую жесьть, помчался Митя. Он упал на землю, подвернул ногу и, прихрамывая, побежал к воротам.

Видно, редко открывались эти дачные ворота. Земля под ними поросла густой травой, разбухшее от сырости бревно-засов плотно втеснилось в железную скобу, и мальчикам никак не удавалось вытолкнуть его. Наконец засов поддался, и, протаскивая по густой траве створку ворот, они открыли довольно широкую щель.

— Вася! Вася! — ласково позвал Саша.

Почему Саша решил, что быка зовут Васей, неизвестно, но в щели возникла огромная лобастая голова с расщепленным рогом, и бык, надав лопаткой створку ворот, вошел во двор. Митя попятился. Голубой печальный глаз на мгновение поймал его фигурку в темный кружок зрачка и выбросил, словно сморгнув. Бык валкой трусцой устремился в угол двора. Там, под кустом бузины, стояла бочка с темной, пахучей, зацветшей водой. Верно, бык потому и остановился у их ворот, что учуял воду. Он погрузил морду в бочку и стал жадно пить. Огромные глотки шарами прокатывались по его горлу и звучно ухали в пустоту желудка. Мелкие листочки гнилой зелени облепили ему морду, а он все пил и пил.

— Видишь, — сказал Саша, — разве бешеный бык стал бы пить воду?..

Но Мите не хотелось говорить. Ликующее чувство победы наполняло сердце сильного Мити, отважного Мити, доброго Мити. Он был так занят собой, что даже не заметил, как во дворе появился рослый пожилой рыжебородый человек. Подойдя к быку, человек по-хозяйски положил ему на взгорбок большую ладонь и сказал:

— Что, вволю натешился?

Он потрепал быка по шее, и тот, не переставая пить, отозвался на ласку легким вздрогом кожи. Тогда человек сунул руку в бочку и, все так же поглаживая быка, вынул у него из носа злополучное кольцо. В воротах стояли еще несколько незнакомых людей; несомненно, это была облава.

— А его не застрелят? — с тревогой спросил Саша рыжебородого. — А то...

— Это кто же позволит колхозного быка стрелять? — отозвался тот, опутывая веревкой рога быка.

— Стрелял же милиционер!

— Так то для порядка! — усмехнулся рыжебородый.

Он кончил наматывать веревку и легонько потянул за собой быка. Тот поднял морду, окропив лопухи и травы темными каплями воды, и тяжело, но с приметной охотцей повернулся.

— Спасибо за помощь, ребятки, — сказал рыжебородый. — Сомневались мы, как его взять, — уж больно напуганный. Бывайте здоровеньки! — И, ведя за собой быка, он пошел со двора.

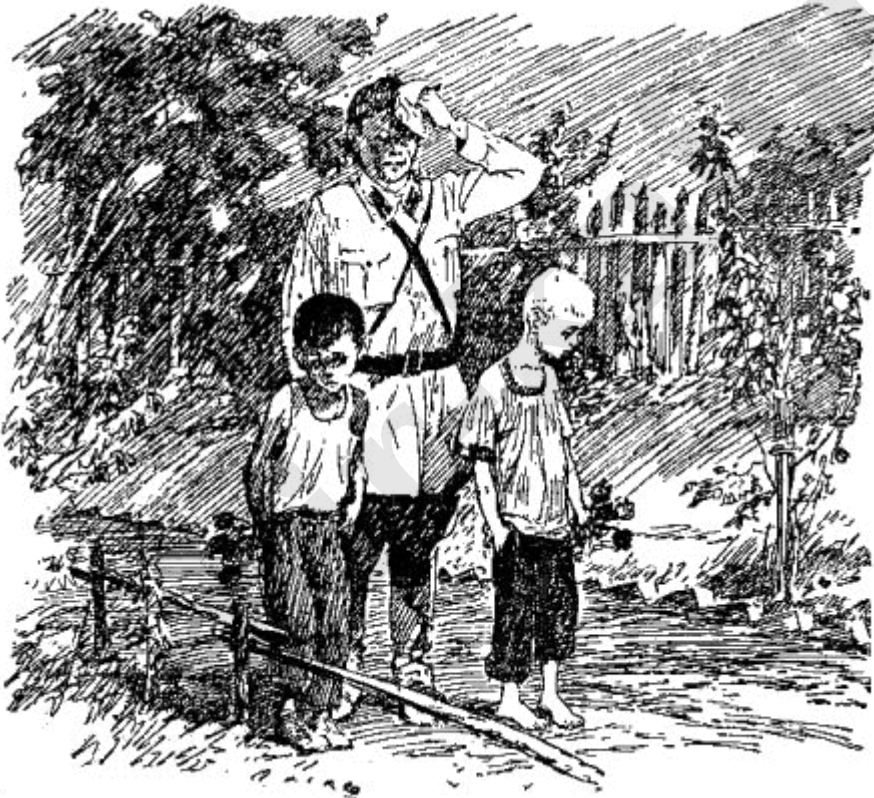
Мальчики остались одни. Саша посмотрел на помрачневшего Митю и громко расхохотался. Митя не понимал, отчего так весело его приятелю. Он чувствовал себя глубоко несчастным, обобраным — у него украли его лучший, его единственный подвиг.

— А все-таки мы не зря старались, правда, Митя? — сказал Саша, перестав смеяться.

Это была подачка, подачка тому маленькому в Мите, что заставляло его сейчас чувствовать себя бедняком. А Саша не нуждался в утешении. Его щедрая душа не могла смутиться тем, что подвиг не удался. Он-то знал, что на его век подвигов хватит.



Атаман



Еще вчера в саду были тюльпаны: нежные красные чашки с притемненным донцем — целая плантация, а сегодня на истоптанных грядках торчали лишь обломанные стебли, атели оборванные или осыпавшиеся лепестки.

— Я понимаю воров, — медленным голосом говорила полная флегматичная хозяйка в пенсне на горбинке красивого хищного носа, удивительно чуждого ее младенчески розовому лицу. — Странно лишь, почему они не сделали этого раньше, тюльпаны уже осыпаются. Но зачем губить их на корню? Это не люди, а какие-то дикие звери! — И она протерла свое пенсне.

Хозяйка ошибалась — тюльпаны были похищены все-таки людьми. Тем же утром, близ

полудня, их привел на дачу районный милиционер в белой, влажной под мышками и на груди рубашке и тяжелых запыленных сапогах. Похитители щеголяли в ситцевых брюках и майках-безрукавках, некогда голубых, а ныне без цвета. У одного была черная, блестящая, словно нагутаиненная голова, другой являл совершенного альбиноса: сед, белокож, будто выварен в щелочи, с красными кроличьими глазками. И тому и другому было лет по восемь. Оба сжимали в кулаке букетик пожухших тюльпанов — видно, милиционер, к вящему их позору, не позволил выбросить цветы.

Милиционер снял фуражку и вытер девичьим носовым платком с каемкой потный незагорелый лоб.

— Извиняюсь, конечно! — сказал он набежавшей вмиг дачной ораве. — Кто тут будут хозяева?

Большая, розовая, в платье с рюшками, обмахиваясь томиком Марселя Прево в желтой обложке «Универсальной библиотеки», вперед выплыла хозяйка.

— Вот эти товарищи... — Милиционер кашлянул и смущенно поправился: — Извиняюсь, огольцы оборвали ваш цветник.

— Очень приятно... — рассеянно отозвалась хозяйка и улыбнулась милиционеру из бесконечной дали элегантного мира Прево.

— Интересно, что вы чувствуете на людях, которым причинили такой большой ущерб? — горько спросил милиционер похитителей.

— Ничего, — смиренно отозвался альбинос.

— А вам краснеть надо, стыдиться надо! — рассердился милиционер. — Люди работали, старались, сажали цветы, ухаживали за ними, а вы чужой труд себе присвоили, нешто это порядок?

— Нет... — прошептал альбинос.

И черноголовый решительно подтвердил:

— Нет!

— Ну вот, хорошо, хоть сами поняли, — с облегчением сказал милиционер. — А как было бы вам лучше сделать?

— Самим посадить. — Это сказал альбинос.

— То-то факт, самим!.. Для чего же вы крали цветы? Для продажи?

— Чтоб на окно поставить! — в голос сказали оба.

Милиционер даже растерялся:

— Это кто же надоумил вас так говорить? Ленька, что ли?

— Ага! — наивно подтвердил альбинос.

— Видали? — обратился ко всем дачникам милиционер. — Я их на шоссе взял. Носились за извозчиками и совали седокам букеты, а сейчас нахально врут, что воровали ради домашней

красоты. Это все Ленька, настоящий рецидивист!

— А где тот чертов Ленька? — спросил кто-то из дачников.

— Лесом ушел. Его нетто поймаешь! За версту опасность чует. Настоящий рецидивист! — повторил он убежденно, даже с удовольствием, и раскрыл планшет. — Придется акт составить.

Похитители переглянулись, враз сморщили носы и тонко всхлипнули.

— Ну, ну! — сказал милиционер. — Без дураков. Это вас тоже Ленька научил?

Альбинос прервал скулеж.

— Ага! — Он отнюдь не был наивен, как поначалу казалось, просто ему хотелось свалить все на Леньку. — Дяденька, а я и в саду-то не был.

— Как не был?

— Побоялся. Я на дороге ждал.

— Видали! Настоящее ограбление по всем правилам: двое дело делают, третий на стреме. Это, конечно, Ленькина наука!.. Тебя как звать?

— Серенька.

— Сергей, значит, а фамилия?

— Костров.

— Отец где работает?

— Отца у нас нету, от живота помер.

— Вон что! А кто у тебя в семье есть?

— Мамка... — Он подумал и добавил как о чем-то не стоящем упоминания: — Сеструха еще.

— Старшая?

— Какой там — ползунок!

— А тебя как звать? — обратился милиционер к черноголовому.

— Петька... Петр Васильевич Кузин, — ответил тот, заглядывая в планшет милиционеру. — Отца нету, мать на станции работает.

— Постой, Петр Васильевич, не спеши. Отец-то где?

— Ушел, когда я еще маленький был.

— Понятно. Вишь, сам же себя большим считаешь, а ведешь кое-как. Братья, сестры есть?

— Брат Колька.

— Младший?

— Старший.

— Что же он тебя уму-разуму не научит?

— А когда?.. Он в депо учеником, домой редко приходит.

— Про Ленькину семью вы знаете?

— Чего знать-то?.. Он да мать.

— Отец где?

Они заговорили враз, перебивая друг друга:

— У него отец в гражданскую погиб... На гражданской войне убили... под этой... как ее?.. — И оба замолчали, не в силах вспомнить, где убили Ленькиного отца.

Не знаю, правда ли это или так подучил дружков говорить многоопытный Ленька, но милиционер поверил им, а может, сделал вид, что верит. Он учинил весь этот как будто строгий, придирчивый допрос, чтобы выгородить ребят, склонить потерпевших к милосердию.

— Безотцовщина! — вздохнул милиционер. — Экая беда, право! Придется матерей штрафовать.

Альбинос снова заныл, а чернявый уронил свою нагуталенную голову.

— Зачем это? — сказала хозяйка, вновь нехотя вплывая в действительность. — Конечно, нехорошо так варварски уничтожать цветы. Лучше придите, попросите, мы никогда не откажем. Но штрафовать — это, право, лишнее!

Ребята поняли, что помилованы.

— Мы больше не будем! — вскричали они так бодро, что всем стало ясно: будут, за милую душу!..

— Не хочется их отпускать, — стал ломаться милиционер. — Хотя они что — мелюзга. Ленька — главная язва... — И кровожадно наказал помилованным: — Вы предупредите товарища: попадетсЯ — пощады не будет!..

Мог ли я думать, что через несколько дней сам приму участие в набеге на соседский сад под водительством неукротимого Леньки?..

Познакомился я с Ленькой случайно — на Уче. Я плыл на хозяйской плоскодонке, неловко орудуя единственным, да к тому же обломанным кормовым веслом, когда из воды раздался голос:

— А ну, давай к Акуловской!..

Я успел испугаться, прежде чем обнаружил маленькую, в цыпках, руку, уцепившуюся за корму. Страх сразу прошел, и я разозлился:

— Отчаливай!.. Мне в другую...

— Я что сказал?! К Акуловой, зараза!.. Хуже будет! — в бешенстве закричал невидимый пловец.

Корма чуть опустилась, и над ее краем показалось искаженное яростью, бледное, крапчатое, облепленное мокрыми, с ржавчинкой волосами лицо моего сверстника. Что-то бессознательно тронулось во мне навстречу злобному мальчишке. И еще до того, как я догадался, что это Ленька, мне захотелось подчиниться ему и помогать.

— Ладно, залезай в лодку, — сказал я.

— Гребь, сволочь! — И он плеснул в меня водой.

Теперь у меня не оставалось сомнений, что это Ленька. Он, видно, снова скрывается от преследователей и потому не хочет вылезать из воды. Я заработал веслом и быстро отбуксировал его в прибрежный орешник под Акуловой горой. Здесь его уже поджидали знакомые мне Серенька и Петр Васильевич. Они меня тоже узнали и что-то шепнули выбравшемуся на берег атаману. Он глянул через плечо и усмехнулся странно — без улыбки, но ничего не сказал. Приятели вручили ему одежду: латанные-перелатанные штаны, которые называют «ни к селу ни к городу», — на вершок ниже колен, сетку с взрослого мужчины и ботинки. Эти ботинки были до того изношены, что кожа их стала тоньше, мягче и податливее лепестков тюльпанов. Но Ленька с редким достоинством надел «ни к селу ни к городу», заправил в них необъятный подол сетки, обулся и подтянул веревочки, заменявшие шнурки. Он удивительно ловко поместился в своей убогой одежде и выглядел чуть ли не франтом. Это происходило оттого, что он замечательно двигался: мягко, упруго, изящно, и одежда послушно следовала каждому его движению. Его привыкшее ускользать от опасности, хорониться, спасаться тело обладало бесшумной, звериной грацией.

Я покачивался в своей плоскодонке, ребята меня не гнали, и, осмелев, я выбрался на берег и лег рядом с ними на узком песчаном окоеме под орешником. Немного позже я освоился настолько, что рискнул спросить у Леньки насчет его отца: правда ли, он погиб в гражданскую войну?

— А тебе какое дело? — ответил Ленька высокомерно, и его тонкие синеватые губы повела гримаса отвращения.

— Просто интересно...

— Заткнись!

— Я же по-хорошему спрашиваю...

— Ладно, заткнись! — И он лениво отвернулся.

Поддавшись на кажущееся миролюбие слов и жеста, я рискнул повторить свой вопрос.

Ответ был подобен вспышке молнии: я оглянуться не успел, как Ленька сидел на моей спине и с силой тыкал меня лицом в песок. Крупные песчинки неприятно впивались в кожу, лезли мне в глаза, рот, но боли я не испытывал, лишь удивление, обиду, горечь. Я не пытался освободиться, хотя мог без труда сделать это, сразу почувствовав, что Ленька, ловкий и стремительный, все же слабее меня. Но он был прирожденным вожаком, атаманом, от которого сладко вытерпеть даже несправедливость. Он знал, чего хотел, не колеблясь, брал на себя ответственность, плевал на чужое мнение, не боялся риска, принимал жестокие законы охоты. Я же принадлежал к той подавляющей части человечества, что никогда не знает, чего хочет, ни в коем случае не берет на себя ответственность, вечно испытывает потребность в самооправдании, страшится риска, избегает охотничьих троп, — и я знал свое место.



— Заработал? — злорадно сказал Ленька, слезая с моей спины.

— Ага, плати деньги... — пробормотал я.

Он снова без улыбки, сухо, коротко усмехнулся.

— «Мы буржуев не боимся, пойдем на штыки!» — пропел Серенька-альбиносик, до глубины своей малой души обрадованный унижением беззащитного, как ему казалось, человека, и тонкой, белой, незагорелой альбиносией ногой лягнул меня в живот.

Альбиносик не принадлежал к Ленькиной породе, был из одного со мной теста, и я не испытывал к нему ни малейшего почтения. Поэтому, сломив его отчаянное, но хилое сопротивление, я подверг его той же экзекуции, которую только что перенес от Леньки. А затем, уже не знаю зачем, угостил пинком Петра Васильевича. Оба преувеличенно, провоцируя Ленькино заступничество, разревелись.

Но Ленька и не думал вступаться, впервые он засмеялся: глухо, отрывисто, похоже на лай. Подобно многим выдающимся деятелям, он радовался унижению своих приближенных.

— А ты, парень, ничего — сойдешь с горчичной! — сказал он мне. — Как звать-то?..

В обратный путь я отправился, осененный высоким Ленькиным доверием: он предложил мне принять участие в очередном налете на дачный сад...

Эта дача, обнесенная высоким, глухим забором, стояла в полукилометре от нас, за булыжным Дмитровским шоссе, в рослом сосняке. Было в ней что-то загадочное и жутковатое. Она казалась необитаемой. Нам нередко доводилось проходить мимо нее во время наших грибных странствий, и ни разу за высоким, в моховой прозелени забором не прозвучала легкая музыка дачной жизни: детские и женские голоса, стук крокетных шаров, удары по волейбольному мячу, просвист и пощелк серсо. Лишь порой, когда мы, обозленные зловещим этим молчанием, начинали колотить палками по забору, откуда-то издалека, словно из-под земли, раздавался тяжелый, медленный собачий лай — так может лаять лишь очень большая, старая, сильная собака, уверенная, что никто не посягнет на охраняемые ею владения. Но и это случалось крайне редко, обычно нам отвечала такая тишина, что от нее звенело в ушах, и мы начинали сомневаться: звучал ли когда-нибудь тяжелый, медленный, похожий на стариковское откашливание лай, или то была слуховая галлюцинация?

И ни один дымок не всплывал над забором: как будто там не топили кухонной плиты, не палили самовара, не жгли сухой листвы и хвороста...

Но Ленька располагал другими сведениями. Он утверждал, что дача населена невероятными, небывалыми, уму не постижимыми буржуями и что буржуйскую эту семейку обслуживают по меньшей мере десять лбов. Буржуй на все лето нанимает извозчика на «дутиках», и тот живет на даче, чтобы всегда быть под рукой, вместе со своим здоровенным бородатым сыном, состоящим в дворниках; а еще есть кривоглазый сторож, «шеф-кухарь», нянька, присматривающая за буржуйским сыном, и какая-то загадочная «мириканка», обучающая этого гаденыша по-французски. И все это не считая разных «заживалок»...

Я выразил удивление, отчего при таком многолюдстве в саду постоянно царит тишина. Ленька объяснил, что взрослые буржуи редко навещают дачу, пашенок их либо пирожные жрет, либо по-французски учится, а остальные все дрыхнут круглые сутки напролет.

— И никогда не просыпаются?

— Днем, чтоб брюхо набить.

Сереньку-альбиносика беспокоила собака.

— Она вокруг вишеня и яблонь по проволоке бегаёт, — объяснил Ленька, — за цветами не приставлена.

— Нетто нам туда залезть, больно уж высоко! — сомневался Петр Васильевич.

— Я гнилую доску в заборе расшатал, — просто ответил наш предводитель.

Я, конечно, чувствовал, что Ленькиным сведениям не хватает достоверности, все-таки я лучше представлял себе «буржуйскую жизнь», но это меня скорее успокаивало. Я не верил в существование кучера, нанятого на весь сезон с экипажем на «дутиках», и в его бородача сына, равно и в кривого сторожа, «шеф-кухаря» и «мириканку». Старуха нянька, «заживалки» куда ни шло, но остальное — чушь, плод растравленного Ленькиного воображения. И все же эти причудливые фигуры обрели плоть и кровь, когда ранним росным утром следующего дня мы оказались в их руках.

И я не знаю, почему мы засыпались. Вначале все шло по плану: полусгнившая заборная планка легко уступила Ленькиному нажиму, и в образовавшуюся щель проскользнул Ленька, за ним я, за мной Петр Васильевич. Правда, потом я вспомнил, что Петр Васильевич не совсем проскользнул, он как бы завяз в щели, одной ногой коснувшись вражеской земли, другой

оставаясь снаружи. Альбиносик, по обыкновению, стоял на стреме, в стороне шоссе. Попав в сад, мы оказались возле грядок с тюльпанами, дальше виднелась огромная, как курган, клумба, за ней, в глубине сада, высилась притемненная высокими соснами двухэтажная деревянная дача с башенками, террасами и террасками. Особенно я не вглядывался, памятуя наказ: рта не разевать и живее сматываться. И потому, присев на корточки, я принялся обрывать тюльпаны. Мне уже случалось отрясти чужую яблоню, пожить чужой малиной или смородиной, но никогда еще не приходилось мне рвать чужих цветов. Воспитанный матерью в нежном уважении к цветам, я не мог рвать их кое-как. Я делал это осторожно, чтоб не повредить корня, не помять лепестков. Привычно, бережно-неспешные движения усыпили во мне ощущение беззаконности поступка, опасности, страха перед возмездием. Я вел себя так, словно намеревался преподнести хозяйке дачи красивый букет к утреннему пробуждению. Было тихо, лишь вдалеке мирно побрякивал цепью пес — мы находились с подветренной стороны.

Я не слышал, как метнулся прочь Ленька, как кто-то подошел и стал за моей спиной, погасив своей тенью блеск росы на цветах и травах. Я видел эту тень, но не придавал ей значения, исполненный рвения и тихого счастья новой дружбы. Сперва был оглушительный удар по уху, затем ноги мои отделились от земли, окружающий мир заплясал передо мной, а в спину колюче и страшно уперлась борода. Охваченный ни с чем не сравнимым ужасом, я извивался, рыдал, уверяя сперва терзавшего меня бородача, затем многих набежавших людей, что я хороший и честный мальчик, отродясь не залезавший в чужие сады, сын инженера и внук врача.

И этот гадкий, трусливый лепет подействовал: я очутился на земле, и большие грубые руки на моих плечах полегчали, ослабили хватку. И тогда я увидел их всех, как в страшном, но пронзительно-ясном сне: толстого лысого человека в пижаме, рослую толстую женщину в бордовом стеганом халате, толстого сонного мальчишку, тощую-тощую, пепельноволосую, похожую на мокрого воробья «мириканку», старуху няньку с оплывшим лицом, «заживалок» и всех остальных. И еще я увидел Леньку: он стоял под кустом бузины, потупив ржавую голову и редко взблескивая глазами, у ног его валялись тюльпаны. С двух сторон к нему подступали кучер в плисовых штанах и кривой сторож. Почему Ленька не пытался спастись? Я понял это позже, сложив воедино короткие промельки видения в тьме охватившего меня страха. Сперва Ленька метнулся к забору, но кучеров сын отрезал его от щели, тогда он повернул к калитке, но путь ему заступили кучер и сторож. Он кинулся было в сторону дачи — оттуда уже валила целая толпа. И Ленька не то чтобы сник, сдался — другим противникам он задал бы работу в этом большом, заросшем саду, но этим не захотел дать наслаждения травли и победы. Он просто швырнул им себя, как кость.

Два здоровенных мужика кинулись на Леньку, заломили ему руки за спину и подтащили к хозяевам. С ненужной суетой, мешая друг другу, они стащили с него штаны, эти убогие «ни к селу ни к городу». Мне подумалось, что его будут сечь, я рванулся к нему, но бородач сжал, смял меня своими лапищами. Видать, та же догадка пронизала Леньку, он страшно завыл и штопором — к земле — стал вывинчиваться из цепких рук. Сторожу, державшему его шиворот, больно закрутило пальцы, и он выпустил ворот Ленькиной рубахи; изловчившись, Ленька лягнул кучера в пах и едва не вырвался, но тут на него черной стаей бросились все «заживалки»...

Никто не думал сечь Леньку: за это пришлось бы отвечать. Они придумали куда более жестокую, унижительную, а для них безопасную кару. Кучер и кривой сторож набили Ленькины штаны молодой, светло-зеленой, донельзя стрекучей крапивой, натянули их на Леньку, застегнули и туго-натуго перепоясали старым матросским ремнем. А затем, дав легкий подзатыльник, отпустили на все четыре стороны. Я до сих пор помню, как они все смеялись, когда Ленька двинулся к калитке, с шутовской галантностью распахнутой перед ним кривым

сторожем. Томно, в нос, похохатывала хозяйка; неумело, будто в непривычку, вторил ей муж; захлебывался, корчился сынок; истово гоготали кучер с бородатым отпрыском; высмеивал мелкие слезы из кривого глаза сторож; дружно, старательно повизгивали «заживалки»; даже нянька посмеивалась, мотая старой головой; чуть натужно ухмылялась кухарка. Лишь старенький воробышек — «мириканка» не принимала участия в общем хоре, худенькое лицо ее болезненно сморщилось. Но вскоре смех затих. А чего было смеяться? Легкой, свободной, небрежной походкой стройный мальчик уходил по усыпанной красным, крупнозернистым песком дорожке. Если б Ленька корчился, плакал, пытался освободиться от палящей начинки штанов, впивавшейся мириадами крошечных шипов в самую нежную, лишенную защитной огрубелости плоть, если б хоть поежился, хоть почесался разок!.. Но Ленька шел не спеша, будто в штанах у него не крапива, а лепестки тюльпанов; вот он поднял сахарный голыш и швырнул в сороку, сидевшую на островершке ели, вот наподдал носком ботинка старый теннисный мяч. И карателям стало вовсе не смешно, скорее досадно и вроде бы сумрачно. А бородач сорвал стебель крапивы и провел ладонью по листьям — видно, подумал, что это какой-то особый, нестрекучий сорт. Но его-таки ожгло, я он выронил крапиву, облизал ладонь большим, желто-обметанным языком, и взгляд его стал пасмурен и задумчив.

Отпустили и меня, прочтя какую-то вонючую мораль. Я нагнал Леньку уже за калиткой. Лицо у него было белое, а под глазами как углем намазано. Я сказал:

— Бежим, Ленька!

Он не отозвался. Он шел так же неторопливо, чуть волоча ноги, — наверное, думал, что за ним подглядывают.

Мы перешли булыжное шоссе и, оказавшись за насыпью, потеряли дачу из виду. Я сказал:

— Бежим?

Он опять промолчал. Мы миновали сосновую рощицу, спустились в балку, где протекал пересыхающий в засуху, а сейчас, после затяжных дождей, полный и быстрый ручей. Вода бурлила, завихряясь возле коряг и крупных скользких камней, намывала жирную пену на берег. Ленька снял штаны и стал вытряхивать крапиву. Жутко было глядеть на его воспаленную, багровую, в волдырях кожу.

Ленька вошел в ручей и некоторое время стоял недвижно, предоставляя воде обтекать его тело, потом осторожно растер живот и бедра. Почему-то мне показалось, что купание не принесло ему облегчения. Он вылез, еще раз встряхнул свои штаны, посмотрел их на свет и повыдергал застрявшие шипы. Лишь после этого он оделся.

— Знаешь, а колючки у крапивы стеклянные, — сообщил я, словно это могло ему помочь.

Ни слова в ответ, я для него просто не существовал. И вдруг я увидел, что Ленька улыбается. Странной и опасной была его улыбка: краешки темных, спекшихся губ туго оттянуты книзу. Он глядел поверх моей головы, поверх леса, в какую-то ему одному ведомую даль: там пылали пожары, гремели выстрелы и, обливаясь кровью, шел в последний, смертный бой его отец.



Как был спасен Мальмгрен



Считается, что июнь 1928 года я и мои летние друзья во главе с Большим Вовкой провели на даче под деревней Акуловкой. Но по правде человеческого сердца — а это ведь главная правда, — мы обитали во льдах Арктики, на дрейфующей льдине, на Шпицбергене, на палубе могучего ледокола, разламывающего носом громады льдов. Все жители планеты Земля с замиранием сердца следили за ледовой трагедией злосчастной экспедиции итальянского аэронавта Умберто Нобиле, и наш детский акуловский микромир не отставал от большого мира

взрослых.

Мы не пропускали в газетах ни строчки, ни слова об отважной работе спасения, в которой принимали участие люди всей земли. Мы забросили наши любимые игры, даже в красную кавалерию перестали играть. Мы были то красинцами, то малыгинцами, летали на разведки с Чухновским, погибали с Амундсеном, торжествовали с летчиком Лундборгом, когда он, совершив дерзкую посадку на льдине, вывез раненого генерала Нобиле в Кингсбей. Каждый из нас в пылком воображении своем был и Самойловичем, и профессором Визе, и Чухновским, и Бабушкиным, и капитаном Эгги, и старпомом Пономаревым, и Амундсеном, и счастливец Лундборгом, и смелым, невезучим Рийсер Ларсеном. Но одно дело — в воображении, другое — в игре, обретшей серьезность жизни. Тут было не так просто стать, кем ты хочешь. За право быть Чухновским, главным героем Красинианы, — это он нашел Мариано и Цаппи, считавшихся погибшими, — я два раза дрался с Большим Вовкой. Мой соперник был старше, выше и тяжелее, Чухновским стал он, а я — бортмехаником Шелагиным, первым заметившим на маленькой обтаявшей льдине три черные фигурки. Потом оказалось, что там находились лишь Цаппи и Мариано, доктор Фин Мальмгрен, отмороживший ногу, был брошен капитаном ди-корветто много раньше в ледяном гроте. Третье черное пятнышко, принятое Шелагиным за человеческую фигуру, было меховыми брюками Мариано, расстеленными на снегу его товарищем для привлечения внимания с воздуха.

Когда же «Красин» снял с льдины основную группу потерпевших обитателей знаменитой Красной палатки и правительство Муссолини объявило о прекращении поисков — все остальные спутники Нобиле, унесенные с оболочкой разбитого дирижабля, считались погибшими, — волнение в мире не только не улеглось, но достигло высшего накала. Люди хотели знать правду о загадочной гибели метеоролога Мальмгрена, прославленного ученого и путешественника, друга и соратника бесстрашного Амундсена.

Подобренные «Красиным» капитаны ди-корветто вели себя по-разному: полураздетый, с гангренозной ногой Мариано, находившийся на пределе истощения, хранил упорное и мрачное молчание. Зато бодрый, тепло и добротнo одетый Цаппи — на нем было два полных меховых костюма: его и Мальмгрена, да еще теплая куртка Мариано — охотно, хотя и сбивчиво, разглагольствовал о последних минутах Мальмгрена.

Ослабевший, отмороживший ноги и вывихнувший плечо Мальмгрен не мог продолжать путь. Он забрался в ледяной грот, разделся, кинул им свою одежду и велел уходить. Они не соглашались. Мальмгрен настаивал — опытейший полярник, он сказал им о железном законе Арктики: льды не терпят слабых. Это было справедливо, но Мариано не желал слушаться доводов рассудка и наотрез отказался взять одежду Мальмгрена и даже пытался помешать в этом Цаппи. Между ними едва не разгорелась драка. Цаппи напомнил своему старшему другу и командиру, что оставшиеся в Красной палатке больные, беспомощные люди ждут помощи и они обязаны продолжать путь к Большой земле. Мариано покорился.

Мальмгрен долго махал им вслед из своей ледяной могилы обнаженной рукой...

Но мы не играли в «Мальмгрена» до того дня, когда Колька Глушаев вмешался в наши игры. Мы играли только в спасение.

За оградой дачи лесорубы корчевали вырубку, и каждый вывороченный из земли пень становился ледоколом, самолетом, льдиной или айсбергом. Радость в наших играх доставляли не приключения, а пребывание в образах отважных людей. Колька Глушаев, ведший с некоторых пор таинственную взрослую жизнь, проявил к нам неожиданный интерес.

— Вы идиоты, — сказал он, — разве так играют? В гибель Мальмгрена надо играть. Завтра мы пойдем вон к той вышке, — он показал на едва различимый вдаль за деревьями островершек. — И по дороге я погибну...

В спутники Глушаев выбрал Большого Вовку и меня. Спорить не приходилось — Глушаев был скор на расправу. На сборный пункт он явился с заплечным мешком, в котором помещалось одеяло и «запас продовольствия». И мы поняли, что Глушаев стал безнадежно взрослым человеком, раз уж ему не хватает воображения. Мы не опускались в наших играх до такой грубой вещественности.

— Пошли, — сказал Глушаев-Мальмгрен, и мы тронулись.

Путь наш лежал через сырой осинник с мягко-податливой, проминающейся под ногами почвой. Высокие режущие травы в кровь иссекли нам с Вовкой голые ноги своими острыми лезвиями. Глушаев, носивший полотняные брюки, не пострадал. Начало путешествия складывалось для Мальмгрена удачнее, нежели для его спутников. Подумав об этом, я вдруг вспомнил, что мы с Вовкой даже не условились — кто есть кто. В игре, навязанной нам Глушаевым, сладко воплотиться лишь в Мальмгрена, и по праву сильного Глушаев присвоил себе образ героя-страдальца. Нам остались подонки — один получше, другой похуже, но существенной разницы между ними не было, и мы просто забыли распределить роли.

Идти становилось все труднее. В глубокой влажной траве хоронились скользкие коряги, мы с Вовкой то и дело спотыкались, оскальзывались на них, случалось, и падали. Длинноногому Глушаеву бурелом был нипочем, он только чуть выше задирает ноги и с мягким хрустом давил старые, перегнившие в болотистой почве сучья. Он все время уходил вперед и поджидал нас с пренебрежительно-скучающим видом. Возмездие не заставило себя ждать.

Перешагивая через темную, пыльную, стоячую воду, вдруг обнажившуюся в густой траве, он зацепился брючиной о корягу и зарылся носом в торф на том берегу лужи.

— Все, — сказал Глушаев, потирая ушибленный локоть, — я сломал руку.

Мы кинулись к нему, на локте у него алела ссадина. Большой Вовка протянул ему носовой платок.

— Да ничего ты не сломал. На, перевяжи.

Глушаев смерил его уничтожающим взглядом.

— А я говорю, сломал. — Он смахнул с лица и груди лепешки торфа, задрал штанину на своей крепкой, загорелой ноге. — И ногу я отморозил, и гангрена уже началась.

Он воспользовался падением, чтобы вселиться в образ Мальмгрена и тем замаскировать свою неуклюжесть.

— Мы понесем тебя, — покорно вступая в игру, сказал Большой Вовка.

— Нет, я еще попробую идти сам, — капризно возразил страдалец. — Вы будете меня поддерживать. Сейчас я только подвяжу ногу.

Вынув ремень из брюк, он согнул в колене левую ногу и крепко стянул ее. Для чего ему это понадобилось? Верно, для того, чтобы, пользуясь своей инвалидностью, без дураков виснуть на слабых наших плечах. Я с самого начала заподозрил, что Глушаев не с чистой душой затеял

игру. Его раздражала самозабвенная наша увлеченность, которой он, омраченный своей пробудившейся взрослостью, уже не мог разделять. Он словно мстил покинувшему его на произвол судьбы детству.

Мы согнулись под тяжестью одноногого мученика. Конечно же, игра не требовали столь чрезмерной достоверности. Глушаев мог бы не подвязывать ноги или хотя бы лучше пользоваться оставшейся ногой. Но он нарочно преувеличивал свою беспомощность, мы тащили его, как мешок с отрубями.

Когда человеку трудно, всякая малость окружающего мира ополчается против него. Мошкара сеткой повисла у лица, липла к влажной коже, норвила набиться в глаза. Настырные мухи неумолчно жужжали над ухом и вдруг впивались в шею, веко, губу. Стоило отмахнуться от них, как Глушаев хватал нас за руки, словно боясь лишиться опоры. Он, конечно же, издевался над нами, этот здоровенный сукин сын! За пазуху крошились сухие листья и, смешиваясь с потом, саднили тело наждаком. А вытрусить их, хотя бы почесаться не было возможности. В сандалиях мерзко хлюпала вода, между пальцами набилась противная жидкая грязь. Нечем было дышать в этом проклятом болотном лесу, насыщенном смрадными, душными испарениями.

Солнце пробивалось сквозь густую листву слепящими ромбами, его блеск отдавался чернотой в глазах. Я брел как слепой, наталкиваясь на стволы, проваливаясь в ямы, увязая в торфяном месиве, обдирая руки и плечи о стволы, сучья, сбивая ноги об острые осиновые пни.

По счастью, путешествие утомило и Глушаева.

— Ладно, — проворчал он. — Хватит, я дальше не пойду.

Мы остановились возле старой, гнилой березы, близ опушки. Здесь осинник карабкался на бугор, и земля стала сухой, опрятной, в редкой низенькой траве, чайных ромашках и колокольчиках. Глушаев опустился к изножию березы.

— Уходите! — сказал он с мрачной решимостью. — Я останусь здесь.

— Нет, это неинтересно! — сказал Большой Вовка. — Мы понесем тебя.

— Как понесете?

— Сделаем носилки из одеяла и двух жердин, — пояснил Вовка.

— Ну, это будет не по правде, — вмешался я. — Откуда во льдах жердины?

— А лыжные палки могли быть? — отпарировал Вовка. — Все по правде.

— Разве у них... — И вдруг я с ужасом понял, что сама жизнь распределила роли и мне по праву достался Цаппи. Так же как сейчас мне не хотелось тащить Глушаева, зверски алчному до жизни Цаппи не хотелось обременять себя больным, беспомощным Мальмгреном.

Верно, Глушаев догадался, что мне неохота его нести, он тут же подхватил Вовкину идею:

— Тащи жердины!

За этим дело не стало: подходящего материала кругом хоть завались! Они быстро и умело соорудили носилки. Глушаев проверил их надежность и с комфортом улегся на одеяло.

— Пошли! — скомандовал Большой Вовка.

Мы подняли носилки и двинулись из леса. Большой Вовка соорудил носилки так, что ему достались короткие ручки, а мне длинные, тем самым он принял на себя основную тяжесть. В первые минуты я блаженствовал: нести Глушаева оказалось неизмеримо легче, чем тащить его на плечах. И Глушаеву, видимо, приглянулся новый способ передвижения, он достал из кармана мятую пачку «Червонца» и закурил. Я хотел сделать ему замечание, что едва ли прилично курить изуродованному, обессиленному человеку, когда товарищи, изнемогая, несут его по торосистым льдам, но вовремя одумался: кроме ругани и оскорблений, это ни к чему бы не привело.

Мы вышли из леса, из влажной духоты в раскаленную сушь. Сразу же за опушкой пережаренная солнцем земля запеклась серой коркой, растрескавшейся на квадраты и треугольники; дальше, за полоской бурой выжженной травы, бежала дорожка в тонком, мягком прахе. И невозможно было поверить, что мы только что покинули влажный мир осинника на болоте.

Воздух дрожал маревом, в бесконечной дали зыбились очертания геодезической вышки. До нее было как до самых дальних звезд, и ощущение ее безмерной отдаленности свинцовой усталостью налило руки, ноги, плечи, ребра, хребет. Я устал каждой мышцей, косточкой, каждой клеточкой тела. Носилки с курящим Глушаевым были тяжелее антеевой ноши, я изо всех сил борол соблазн бросить ручки.



Дорожка то ныряла в овражки, то вызмеивалась на бугры. В западинах иссыхали давние, еще с весны, лужи; земля темнела последней, исчезающей влажностью, и темные эти пятна были усеяны бабочками-капустницами. Никогда в жизни не видел я такого скопища бабочек, да еще на земле; белые, с черными крапинками на крылышках, они слетались на темные пятна выпота, словно мухи на мед, осы на варенье, мошкара на свет керосиновой лампы. И, глядя на этот жалкий водопой, я почувствовал, как пересохло во рту.

Передо мной маячил крепкий, широкий, плосковатый затылок Большого Вовки. Раньше я не замечал, какой у него упрямый затылок. От такого затылка не жди добра и снисхождения. «Неужели Вовка не устал? — думал я. — Ну пусть он старше меня, немного сильнее в драке, да ведь не двужильный же он, черт бы его побрал!.. Наверное, тут дело не в какой-то особой выносливости, а в чем-то другом. Нету в нем капитана Цаппи ни крупички — вот в чем загвоздка! Надо нести, вот он и несет... Да ведь и я несу, — вдруг осенило меня. — А то, что происходит во мне, никому не известно. Может, и Вовка мучается и пить хочет, только не показывает вида. Главное — не показывать вида. Надо все переживать в самом себе и не вякать. Надо идти, пока не свалишься...»

Но я не свалился. Помощь пришла со стороны... Глушаева.

Покурив, подремав, снова покурив, он стал проявлять беспокойство. Он вертелся на одеяле, причиняя нам лишние муки, приподымался, смотрел вперед из-под козырька ладони. Похоже,

и его припекло, и он по горло был сыт всей этой бодрягой. К тому же мы держались, не скулили и не давали повода к насмешкам.

Это окончательно расхолодило Глушаева к игре.

— Давайте вон к тем кустам, — сказал он. — Да побыстрее, плететесь как сонные мухи.

Впереди к дороге подступала пыльная ореховая поросль. Дальше, до самого геодезического знака, не было ни деревца, ни куста — голое поле. Мы прибавили шагу и вскоре оказались в жидкой тени орешника.

Черной, с выблиском сыпью листву покрывали мелкие жучки. Под кустами широко раскинулись мятые, сморщенные, слоновьи уши старых лопухов. Мы опустили носилки в лопухи, в прозрачную тень и прохладу.

— Ну, все! — сказал Глушаев, и врожденная артистичность взяла в нем верх над ленью, усталостью, скукой — порождением отягощающей, непривычной еще взрослости, — он стал Мальмгренем. — Здесь я останусь. Вы сделали все, что могли.

— Нет! — Большой Вовка набыл свой упрямый затылок. — Мы понесем тебя дальше.

— Моя песенка спета. Я только даром погублю вас. Вспомните железный закон Арктики: льды не терпят слабых.

— Есть и другой закон, — тихо сказал Вовка, — нельзя бросать товарища в беде.

— Что передать на родину, Мальмгрен? — поспешно вмешался я, испугавшись, что он поддастся Вовкиным доводам.

— Передайте привет Упсале. Я там учился... любил.

— Что передать вашей матери, Мальмгрен?

— Передайте мой компас. Слова излишни. Она сама поймет, что я был в порядке... Возьмите мою одежду, мне она уже не нужна.

Глушаев стянул через голову рубашку и швырнул нам. Красиво и как-то беззащитно высмуглился его сильный, загорелый торс.

— Нет! — вскричал Большой Вовка. — Мы не бросим тебя!

— Уходите! — жестко прозвучало в ответ, — Дайте мне умереть!

— Нет, нет!.. — Вовка кинулся к носилкам. — Подымай! — закричал он мне.

Я растерялся. То, что происходило сейчас, было не по жизни и не по игре. Нам полагалось оставить ослабевшего спутника и одним добираться до геодезической вышки, то бишь до Большой земли. Где-то в пути нас, изнемогших, голодных, отчаявшихся, обнаружит Чухновский и спасет «Красин». Но Большой Вовка нарушил все правила. Что это случилось с ним: солнечный удар, омрачивший сознание, или взлет слишком пылкой фантазии, возведшей игру в ранг действительной жизни? Он не мог бросить Глушаева-Мальмгрена, он хотел тащить его из последних сил под палящим солнцем...

Но Глушаеву такое путешествие вовсе не улыбалось. Сильным рывком он сорвался с носилок,

раньше чем мы успели их поднять. Большой Вовка наклонился, чтобы впихнуть его назад, и Глушаев ударил его кулаком в лицо... Из Вовкиного носа двумя струйками потекла кровь. Задрал голову, он стал подхлебывать носом, но кровь не унималась, тогда он принялся высмаркивать ее, кропя окрест лопухи. Это помогло, теперь кровь уж не лилась, а капала, как из крана.

— Мы спасем тебя! — чуть гнусаво сказал Вовка и улыбнулся своим разбитым лицом.

Все остальное я воспринимал как в бреду. Вовка раз за разом подступал к Глушаеву, а тот бил его кулаками, головой по чему попало, лягал в живот. Большого Вовку спасало лишь то, что у Глушаева была подвязана нога и он не мог встать. И как-то случилось, что я начал помогать Вовке и тоже получил раз-другой от Глушаева, хотя и не так сильно, потому что действовал сзади. И нам никак не удавалось вкатить Глушаева на носилки, и тогда мы перевернули его лицом вниз и скрутили ему руки за спиной его же рубашкой. Затем мы бережно подняли его и уложили на носилки.

— Ну, погодите, сволочи! — в бессильной злобе грозил Глушаев. — Я вам пропишу, гады!..

— Да, да, — сказал Вовка, слизывая кровь с верхней губы. — Мы спасем тебя, а потом ты нам пропишешь... Подымай!..

Я смутно помню этот последний рывок. Мы оставили дорожку и двинулись к вышке напрямик, через поле, и метелки травы, словно теплые волны, омывали усталые ноги. И мы падали, когда Глушаев, изловчившись, пинал Вовку ногой в спину. А потом он перестал драться, потому что, падая, мы роняли носилки.

Со мной творилось что-то непонятное. Солнце палило нещадно, выжигало мозг сквозь полуприкрытые глаза, и вдруг странным вздрогом кожу пронизывал морозный ожог, и мне мерещились льды и снег до одурения явственно — спал я, что ли, на ходу?..

Не знаю, как я дошел, почему дошел, откуда взялись силы. У подножия толстых, серых, источенных жуками опор вышки мы опустили на землю носилки с Глушаевым. Нагнувшись, Вовка освободил ему руки. Глушаев ничего не сказал, он давно уже замолчал, и злое молчание это было хуже всякой ругани и угроз, только мне почему-то стало безразлично, что он с нами сделает. Он развязал ремень на ноге, неторопливо вдел его в брюки. Ему некуда было спешить: нам не уйти от расплаты.

Затем он встал, потянулся, расправил тело и шагнул к Вовке. Тот стоял, прислонившись к опоре вышки, и улыбка, похожая на гримасу, застыла на его разбитом, в запекшейся крови лице, потном, измученном, обуглившемся, с синим натеком подглазья. Глушаев перевел свой примеривающийся, опасный взгляд на меня и вдруг сказал каким-то скучным голосом:

— Черт с вами, живите!

Так вот случилось, что брошенный спутниками на верную и мучительную смерть метеоролог Фин Мальмгрен был спасен московским школьником Большим Вовкой.



Эхо



Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет.

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны шипя переползали пляж до белых стен Приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную, с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими

едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся? — раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутым загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.

— Оделась бы хоть... — проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше, — ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных, шершавых камней что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!..

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые, кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький, овальный, прозрачный, розовый сердолик и другой сердолик покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету, несколько фернампиксов в фарфоровой, узорчатой рубашке, две занятные окаменелости — одна в форме морской звезды, другая с отпечатком крабика, небольшой «куриный бог» — каменное колечко и гордость моей коллекции — дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что?.. За все время!..

— Не богато.

— Попробуй сама!..

— Очень надо! — Она дернула худым, шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков!..

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок!.. Марки небось тоже собираешь?

— Ну, собираю, — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Собирал, когда маленьким был.

— А чего ты еще собираешь?

— Раньше у меня коллекция бабочек была...

Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. — Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, чего я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок.

— Ну да?

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дукс», или там «Латвелла», или «Оппель». Так я собрал все марки, вот только «Эндфильда модели Ройаль» у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфильд Ройаль»! Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р»...

— А ты ничего... — сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. — Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю...

— Чего?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые, кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?

— Ну, хочу...

— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!

— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?

— На Приморской, у болгар.

— А мы у Тараканихи.

— Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.

— Почему?

— Мама танцевать любит... — Девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. — Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками.

...Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, — простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался.

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой, пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. — А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш поселок — жалкую горстку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными, мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать, — задумчиво проговорила девчонка. — Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой.

— Можно Викой звать.

— Тьфу, гадость! — Она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышинным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька, а меня — Сережа. Нам еще далеко?

— Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно...

Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий, пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушечника сторожка лесничего.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных, лохматых, грязно-белых пса, взвились в воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Зубы псов клацали в полушаге от нас, я видел репы в их загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще-радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, — эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!

И опять мы петляем орешником по ниточно сузившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу, многие кусты посохли, на других листья изъедена в паутину мелким, блестящим, черным жучком.

Я устал и злился на Витьку. Она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли вплотную к Чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала:

— Сережа!..

«Сережа...» — повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы, и тут навстречу мне, от моря, звонко плеснуло:

«Сережа!..»

Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:

«Сережа!..»

— Вот черт!.. — сдавленным голосом произнес я.

«Вот черт!..» — прошелестело над ухом.

«Черт!» — дохнуло с моря.

«Черт!..» — отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобнокрадчивым тихоней, морской голос принадлежал холодному весельчаку, в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну чего ты?.. Крикни что-нибудь! — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну чего ты?», звонко, с усмешкой: «Крикни», и как сквозь слезы: «Что-нибудь».

С трудом пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!..

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос вверху застонал:

«До свидания!..»

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые, слизлые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвелые, крылья, медленно, кругами падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к переделу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла...

Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой, рокочущий голос трубно прогремел:

«О-го-го-у!..»

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

«Ева!..»

— А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — никому не удавалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял....

— И умер с голода? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по-моему, спуститься можно.

— Давай попробуем?

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз, — неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

«Здоров!..» — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо — по слову Витьки, «звонкое, как стекло», — гнезилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго пропискивало мышью в каких-то своих щелях.

Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому, полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала: корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части тела искромсанного гиганта — нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей...

Все эти закаменевшие существа, части существа, предметы, одетые камнем, перебрасывались, будто мячом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало «гороховое» эхо...

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни, позади нас творился непрерывный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила

нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью; беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умалился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосуллек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, сталкиваясь, пустые бочки, под сводом тяжело отдавалось «бом», дребезжало по углам и низким охом, наконец, вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепаными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными, блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну, крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и «ахнул» в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним, гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг, одиночество и незащитность посреди этого каменистого, отвесного, из кручи падей, мира, населенного загадочными, дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!..



Дальнейший наш путь я воспринимал, как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и Чертов палец, и больной, источенный орешник, и взлетающие на цепях, хрипящие в удушье лесниковы псы, и другой, полный силы, орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор...

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересно... — сказал я лениво. — Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?..

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно, долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому...

Мы подружились с Витькой. Вместе облазили Темрюк-каю и гору Свадебную и на Свадебной, в

гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-кая, с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной, оказалась совсем бесплодной...

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая, она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее нестыдливости — Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь: «Она почти такая же уродина, как я...»

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилками и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку.

— Ребята, глядите, голая девчонка!..

Тут пошла потеха: крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке: она не обращала внимания на выходки мальчишек, но это лишь подливало масла в огонь. Мальчик в красных плавках предложил «загнуть девчонке салазки». Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвалочку направился к воде. Но тут Витька с звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки. — Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная... — сказал он, и уши его стали краснее плавок. — Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песке у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего вожака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод, наконец, взял свое.

— Сережа! — крикнула Витька. — Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, а я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унижительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным к Витькиному позору.

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропищал мальчишка в красных

плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!..

Напрасное предупреждение: я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись, всем телом зажав в худенький свой живот и закрывая его руками, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унижительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне:

— Трус!.. Трус!.. Жалкий трус!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не кулаков Игоря я испугался. Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз жоака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке, но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверчиво:

— Слушай, она что — чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно, она эхо собирает.

— Чего? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь. — Третье лето тут живу, а ничего подобного не слышал!

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Всё! — властно сказал Игорь, вновь становясь жоаком. — Завтра поведешь нас туда!..

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, как бы мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы, моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропка, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный, желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригорчью духом, а гнилью палой листвы, кислетью размытой

земли, в которой перетлевают что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возле лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волглом воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже не кажутся такими грозными в своей мокро-свалывшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на маслины.

А вот и больной, пораженный жучком орешник, ветер и дождь пообрывали его слабую, источенную листву, он стоит оголенный, печальный, и сквозь него виднеется угрюмая протемь моря.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недостижимой выси прочернула его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решете, — без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеют косточки хребта, сложил ладони рупором и закричал: — Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразной подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали и еще, и еще, и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти — ребята за мной — и что было мочи заорал в клубящуюся глубь. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолвствовали...

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх к пещере, уж там-то мы наверняка услышим эхо. Ребята стояли передо мной, молчаливые и суровые, как горы, потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаюсь понять, что же произошло. Меня не заботило сейчас презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она впрямь владеет ключом, позволяющим ей запирать в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смерила меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто: горы отзываются только чистым и честным...

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха.

Дожди не прекращались, море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении блистало чистым телом. Непрестанно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя; ночью, всегда ясной, в мелких белых звездах, он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном: в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного, редкого солнца густой шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами: овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палые, с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее сивые волосы были гладко причесаны и назад повязаны ленточкой, на загорелой шее ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.



— Слушай, мы уезжаем, — сказала Витька.

— Почему?..

— Маме тут надоело... Вот что, я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помиришься с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное — это с какого места кричать. — Витька доверительно понизила голос: — У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. В пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, только вы туда не дошли. И у камней тоже...

— Витька!.. — начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова...

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока!.. — Витька смущенно склонила голову к плечу и побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая... — Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. — Ах, какая чудесная девчонка! Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением, оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. — Ты бы видела ее рот...

— Прекрасный большой рот!.. Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому, я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощеной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку красивой заглазно — острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька, — быстро заговорил я, — мама сказала, что ты красивая! У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос... — автобус прибавил скорость, я побежал, — руки, ноги, правда же,

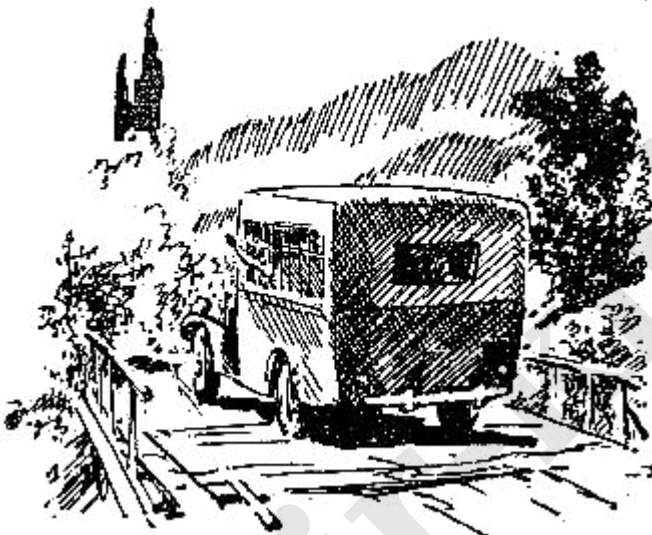
Витька!..

Витька только улыбнулась своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька и верно самая красивая девчонка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей, границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном, но передние колеса автобуса уже ухватили дорогу. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе сгас в пыли у моих ног. Была такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

Мне хотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.



Заброшенная дорога



Был ли в яви или только приснился мне этот странный мальчик, овеянный нежностью и печалью нездешности, как маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери? Я знаю, что он был, как было и булыжное шоссе, заросшее подорожником, лопухами, репейником, конским щавелем, чайной ромашкой; но даже если б этот мальчик принадлежал сну, он затронул мою душу неизмеримо сильнее многих других людей, чья грубая очевидность не вызывает сомнения.

Часто бывает, что чудеса находятся возле нас — протяни руку и возьми, а мы и не подозреваем об этом! Тот день начался с маленького чуда: оказалось, низинный, сыроватый ольшаник, примыкавший с севера к дачной ограде, сказочно богат грибами свинушками. Грибы стояли в лезвистой осоковатой траве не то что табунками, они сливались в сплошные изжелта-бурые поля. Маленькие подвинки с белой подкладкой аккуратных круглых шляпок соседствовали с гигантами, похожими на вывернутые ветром зонтики, каждая воронка хранила каплю росной влаги. Я набивал свинушками рубаху, бегом относил их домой и возвращался в лес.

Помимо грибов, ольшаник кишмя кишел лягушками; не раз, протягивая руку к ножке гриба, я касался противно-холодного тела, мгновенно проскальзывающего под пальцами. Можно было подумать, что грибы и лягушки пребывают в некоей таинственной связи, обеспечивающей им избыточное бытие.

Как и всегда бывает во время счастливого грибного промысла, я становился все разборчивее: меня уже не радовали большие, квелые грибы, я срывал лишь маленькие, резиново-твердые, затем уже среди них я стал выбирать самые ладные и чистенькие крепыши. Эти разборчивые поиски завели меня в глубь леса. Грибов вскоре стало куда меньше, затем они и вовсе исчезли, но я не жалел об этом, пресыщенный чрезмерностью удачи. Меня увлекло странствие по незнакомому лесу, менявшему свой облик по мере удаления от дачи. Низина сменилась возвышенностью, почва под ногами окрепла, и болотные травы уступили место папоротникам и хвощам. А затем сумеречный, веющий сыростью и прелью ольшаник и вовсе сошел, светло,

молочно забелели березы, жемчужно заяснели осины, под ними шелково натянулась густая, низкая трава, задымились столбы солнечного света, косо павшие на лес.

Я вытряхнул грибы из рубашки и надел ее на себя, безнадежно замаранную, приятно и остро пахучую от свинушек, и двинулся дальше. Радостно-тревожное чувство владело мною: я знал, что ушел не так уж далеко и все же куда сильнее оторвался от дома, чем если бы забрел в последнюю даль по знакомой, проторенной тропке. Загадочен был этот светлый, чистый березовый и осиновый лесок, выкроивший себе немалую площадь посреди ольшаника. Ведь ни березы, ни осины не имели выхода в простор. Я хорошо знал окрестность: и со стороны Дмитровского шоссе, и со стороны нашей дачи, и со стороны кочкастого болота, тянущегося за горизонт, лесные опушки были сплошь ольховые.

Чем дальше я шел, тем плотнее росли деревья, узкие прозоры между ними забил валежник, трава поднялась, стала в пол моего роста, а стройные, розовые, похожие на свечи цветы вознеслись куда выше мой головы, и все труднее пробираться вперед, и чуть посмерклось, потому что дымно-голубые столбы не могли пробиться сквозь теснотищу куп. И тут я набрел на этого мальчика, и свершилось главное чудо дня.

Небольшой, худенький, с узким лицом, загороженным круглыми очками в толстой черепаховой оправе, он полол, словно огородную гряду, невесть откуда взявшееся тут густо заросшее булыжное шоссе. Он уже расчистил довольно широкую полосу, и там плотно, крепко круглились сероватые в просинь и розоватость лобастые булыжники, а дальше шоссе терялось в густой поросли сорняков. Мальчик не только полол шоссе, он укреплял его по краям, вколачивая самодельной трамбовкой булыжники в гнезда.

— Здравствуй, — сказал он, обернувшись и доброжелательно глядя на меня большими коричневыми глазами из-за круглых плоских стекол оконной прозрачности.

— Здравствуй, — отозвался я. — Зачем ты носишь очки? У тебя же простые стекла.

— От пыли. Когда ветрено, дорога пылит, а у меня конъюнктивит, — пояснил он с гордостью.

— А что это за дорога? Я никогда ее раньше не видел.

— Не знаю... Ты не хочешь мне помочь?

Я пожал плечами и, нагнувшись, выдрал куст чертополоха с темно-красными цветами и цепкими шипиками. Затем я потащил какое-то длинное растение с сухими темными коробочками семенников, будто наполненными ватой. Растение не поддавалось, вцепившись в землю длинными волосяно-тонкими корнями. Я изрезал ладони, пока наконец вырвал его из земли. Да, это была работка! Недаром же у очкастого мальчика руки были в кровавых ссадинах. Мой пыл разом угас.

— Слушай, а зачем тебе это нужно? — спросил я.

— Ты же видишь, дорога заросла. — Он говорил, стоя на коленях, и щепкой выпарывал из земли какой-то корень. — Надо ее расчистить.

— А зачем? — упорствовал я.

— Ну как же!.. — У него был вежливый, мягкий и терпеливый голос. — Цветы и травы своими корнями разрушают дорогу. Раньше булыжник лежал к булыжнику, а теперь видишь какие щели!..

— Я не о том!.. Зачем надо, чтобы она не разрушалась?

Он осторожно, за дужку, снял очки, ему хотелось получше рассмотреть человека, задающего такие несуразные вопросы, а припылившиеся стекла только мешали. Его не защищенные очками глаза оказались в еле приметном красном обводе, будто кто-то провел по векам тончайшей кисточкой. Видимо, это он и называл так звучно: «конъюнктивит».

— Если дорога разрушится, она исчезнет, и никто не узнает даже, что тут была дорога.

— Ну и черт с ней! — сказал я раздраженно. — Она все равно никуда не ведет!

— Все дороги куда-нибудь ведут, — сказал он с кроткой убежденностью и, водворив очки назад, принялся за работу. — Посуди сам, разве стали бы ее строить, если б она никуда не вела?

— Но раз ее забросили, значит, она не нужна?

Он задумался, чуть перекосив худенькое лицо, и даже перестал выдергивать цветы и травинки, в его коричневых глазах появилась боль — так трудно вложить в чужую душу самые простые и очевидные истины!

— Разве мы знаем, почему дорогу забросили?.. А может быть, кто-то на другом конце тоже пробует ее расчистить? Кто-то идет мне навстречу, и мы встретимся. Нельзя дорогам зарастать, — сказал он твердо. — Я обязательно, ее расчищу.

— У тебя не хватит сил.

— У меня одного — нет. Но кто-то идет мне навстречу и, может быть, прошел уже полпути...

— Далась тебе эта дорога!

— Дороги — это очень важно. Без дорог никто никогда не будет вместе.

Смутная догадка шевельнулась во мне:

— У тебя кто-нибудь уехал далеко?

Он не ответил и отвернулся.

— Я буду тебе помогать! — неожиданно для себя самого вскричал я.

— Спасибо! — сказал он искренне, но без излишней горячности. — Приходи сюда завтра утром, сегодня уже поздно, пора домой.

— А где ты живешь?

— Там... — махнул он на чащу, поднялся, вытер ладони пучком травы, спрятал очки в карман, в последний раз погрузил меня в доброту своих коричневых глаз и пошел прочь, перепачканный, усталый, тщедушный, непреклонный дорожный строитель, и вскоре скрылся за кустами жимолости.

На другой день ни свет ни заря я устремился в лес. Непролазный, оплетенный долгими травами ольшаник в туманном выпоте, густых испарениях, оседавших влагой на коже, походил не то на джунгли, не то на дно схлынувшего моря. Ночью шел дождь, он дал могучий прирост всей жизни в природе: вытянулись, ярче зазеленели осоты; свинушки, будто я и не произвел

вчера опустошения, так и перли из травы свежей прожелтью; в каждой лягушке скрывалась заколдованная принцесса — так были они величавы, исполнены надменности и нежелания посторониться.

Я мчался сквозь ольшаник, сам мокрый с головы до пят, охваченный жгучим нетерпением и умиленным предвкушением встречи с мальчиком на заросшем булыжном шоссе, — его вера уже стала моей верой. Я был уверен, что без труда отыщу шоссе, ведь это так просто: все прямо и прямо сквозь ольшаник, березовый и осиновый редняк в другой березовый лесок, забитый буреломом, и там обнажится чистая полоска синеватого и розового булыжника.

Я так и не нашел заброшенного шоссе. Все было похоже на вчерашнее: и деревья, и травы, и валежник, и репьевые заросли, и розовые свечи высоких цветов, но не было ни шоссе, ни мальчика с коричневыми глазами. До заката мыкался я по лесу, измученный, голодный, с иссеченными травой и сушником ногами, но все было тщетно...

Мне никогда уж не попадалось ни заброшенного шоссе, ни проселка, ни даже стежки, что нуждались бы в моем спасающем труде. Но с годами я по-иному понял наставление мальчика. В моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям: и близким, и далеким, и к тем, о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти забытым. Вот этим дорогам был я нужен, и я стал на вахту. Я не жалел ни труда, ни рук, я рвал напрочь чертополох, и крапиву, и всю прочую нечисть, не давал сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение. Лишь одну, самую важную дорогу не дано мне было спасти, быть может, потому, что никто не шевельнулся мне навстречу.



Торпедный катер



— ...Конференция по разоружению зашла в тупик. Итальянцы требуют равенства своего флота с французским, англичане не хотят поступиться хоть одним кораблем, немцы тайно строят боевой флот, готовясь к реваншу. Можем ли мы оставаться в стороне, ребята? — говорил на собрании отряда наш вожатый Витя Шаповалов, и его красивое, узкое лицо горело ярким, вишневой густоты румянцем.

— Нет! — пылко закричала Нина Варакина, но ее восклицание было вызвано не столько тяжелой международной обстановкой, так ясно и твердо обрисованной Виктором, сколько тайной и постоянно прорывающейся влюбленностью в нашего вожатого, в его красоту и румянец.

Все мы невольно заулыбались. Улыбнулся и покраснел еще пламенней сам вожатый. Румянец, то и дело обливавший его лицо, выдавал не смущение или застенчивость, а скрытое напряжение его внутренней жизни, страстность, которую он вынужден был держать в узде. Подавленное мстило за себя, выталкивая ему под тонкую кожу горячую, алую кровь. Мне кажется, наши девочки безотчетно угадывали это, и румянец Шаповалова покорял их властнее, чем его серые, матовые глаза под длинными ресницами, чем его белые, с жемчужным оттенком зубы, чем его высокий рост и стройность, чем его восемнадцать юношеских лет.

— Так что же мы должны сделать, чем ответить на происки империалистов? — в упор спросил Шаповалов.

— Собрать еще больше пустых бутылок! — выпалил тихий, застенчивый Ворочилин.

— Нет, этого мало! — серьезно сказал Шаповалов.

— Хорошо учиться, — пропищала круглолицая, зеленоглазая «Кошка» — Панютина.

— Это мы должны всегда!

— Послать протест! — выплыл на миг из своих роговых очков с выпуклыми стеклами серьезный, погруженный в себя Павел Глуз.

— Отвечать надо не словом — делом!..

— Крепить оборону Родины! — громко сказала Лида Ваккар.

— Конкретнее!.. — потребовал Шаповалов. Он всегда произносил в иностранных словах ударное «е», как «э», и говорил: «пионэр», «тэнор», «сантимэтр», «конкрэтно». И многие наши девочки подражали ему.

В моей душе бродило что-то смутно-героическое, но не складывалось в четкий образ предстоящего нам деяния.

— Мы должны, — медленно произнес Шаповалов, — собрать деньги на торпедный катер.

— Я только хотел сказать!.. — вскричал я: в эту минуту мне и в самом деле казалось, что я хотел это сказать.

— Напрасно удержался, — заметил кто-то ехидно.

Но остальные не обратили внимания на мою неловкую выходку: слишком велико было впечатление, произведенное вожатым. Вот такой он был, Шаповалов, он всегда подводил нас вплотную к решению вопроса. Даже странно, почему мы неизменно останавливались у самой последней черты; казалось бы, еще небольшое усилие ума и сердца, и нужное слово будет сказано, но мы терялись, и последнее слово оставалось за нашим вожатым.

— Подписные листы я раздам завтра, каждое звено должно собрать не меньше ста рублей.

— Неужели торпедный катер стоит всего четыреста рублей? — удивился Ворочилин.

Наш отряд включал пионеров пятых классов; «А», «Б», «В», «Г», каждому классу соответствовало звено.

— В одной нашей школе семь отрядов, — ответил Шаповалов, — а собирать на торпедный катер будут пионеры и других московских школ.

— Ого! — сказал Ворочилин. — Неужели катер стоит так дорого?

Я поймал на себе гордый взгляд Кольки Карнеева, звеньевого 5-го «А», и ответил ему таким же гордым взглядом. Я был звеньевым 5-го «В», и между нашими звеньями, сильнейшими в отряде, шло постоянное соперничество.

— Наше звено соберет сто пятьдесят рублей! — крикнул я.

— Обязательство берет звено, а не звеньевой, — сухо сказал Шаповалов.

Я и сам это знал, но уж больно хотелось мне уязвить Карнеева.

На сборе звена мы решили, что каждый пионер будет подписывать жильцов своего дома. Большинство ребят обитало в маленьких домишках Покровских переулков, где нельзя было рассчитывать на обильную жатву, но три друга — Грызлов, Панков и Шугаев — жили в новом, восьмизэтажном доме военных, что в Сверчковом переулке, Ладейников — в таком же большом доме политкаторжан на Покровке, наконец, я — в доме печатников, хотя и трехэтажном, но

огромном, выходявшем на три переулка; Армянский, Сверчков, Телеграфный.

Я был уверен, что мой дом меня не подведет. Основное население, которому дом был обязан своим названием, составляли типографские рабочие: печатники, наборщики, офсетчики, брошюровщики, переплетчики, метранпажи — народ политически грамотный, партийный, многие участвовали в революции и гражданской войне. Конечно, были и другие жильцы, занимавшие некогда огромные квартиры в нашем, тогда еще доходном «доме Константинова». Сейчас их заставили потесниться...

Вечером я отправился в путь. Меня встречали приветливо и серьезно, со строгим интересом к моему поручению. До сих пор памяты мне худые, бледноватые, будто тронутые свинцовым налетом лица, осторожный сухой кашель: многие носили в себе профессиональную болезнь дореволюционных наборщиков — чахотку; внимательные глаза за металлической оправой очков, глуховатые голоса, расспрашивающие, что за катер и с какой целью он строится. Разговор чаще велся в прихожей или на кухне, куда собирались все обитатели квартиры: главы семей, их жены, иные с грудными детьми на руках, мои дворовые дружки, а иной раз и неприятели. Но и эти последние, уважая дело, которое привело меня к ним, держались вежливо и предупредительно. В рабочих семьях подписывались все, не на много, по достатку и возможности, и я понимал, что внесший двадцать копеек был не скупее того, кто жертвовал полтинник, просто сейчас он не мог дать больше. Часто подписывались и жены: на три, пять копеек, сколько у кого оставалось от дневных расходов; они не складывали свои деньги с мужними, вносили их самостоятельно и тоже расписывались на листе. И мои дворовые приятели не оставались в стороне, причем вклад их порой превосходил родительский. Но особенно растрогал меня Борька Соломатин, хотя он внес всего пятак. Это был очень старый, совсем стершийся, расплющенный пятак, но в том и заключалась его ценность. Борька отдал свой знаменитый биток, которым он обыгрывал весь двор в расшибалку.

В первый вечер я собрал около двадцати рублей. У большинства ребят, как и следовало ожидать, успехи были скромнее. Зато Грызлов, Панков и Шугаев могли похвалиться круглой суммой в пятьдесят рублей. Ладейников не пошел в обход. Он боялся засыпать контрольную по арифметике и весь вечер промучился с задачками. Все же общая сумма приближалась к сотне. Звено Карнеева собрало сорок рублей, остальные того меньше. В этот день мы были героями школы.

На большой перемене мне попался Карнеев.

— Мы думаем взять новое обязательство, — бросил я ему небрежно. — Что скажешь насчет двухсот рублей?

— А мы уже это сделали, — ответил он спокойно.

Надо было принимать срочные меры — Карнеев что-то задумал.

Павел Глуз был выдающимся математиком: мы проходили арифметику, а он давно вращался в сфере отвлеченных величин.

— Слушай, Глуз, ты не останешься после уроков позаниматься с Ладейниковым? — спросил я его.

— У меня сегодня кружок, — после долгой паузы, понадобившейся ему, чтобы уразуметь мой вопрос, ответил Глуз.

— Можешь разок пропустить. Ведь аврал. На Ладью вся надежда. Порешай с ним задачки, а то

Карнеев нас побьет.

— Мы собрали девяносто семь рублей, а они сорок три, — вдруг оживился Глуз. — Значит, через неделю у нас будет шестьсот семьдесят девять рублей, а у них триста один, на триста семьдесят восемь рублей меньше.

— Да, по цифрам оно верно, — сказал я, несколько ошеломленный быстротой, с какой были произведены эти подсчеты, — а на деле хорошо бы две сотни собрать. Тут все не так просто... — Но, увидев, как затуманилось и отдалилось лицо Глуза, я не стал пускаться в объяснения. — Одним словом, раз ты сам не ходишь по квартирам, помогай нам своей гениальностью.

— Что же делать! — вздохнул Глуз.

Но Ладейников не успокоился.

— У меня с домашним сочинением паршиво, — сказал он.

Если бы дом политкаторжан не рисовался мне чем-то вроде золотых приисков, я бы по-свойски ответил Ладейникову.

— Да ты что — не можешь написать, как провел лето?

— А чего писать, когда я все лето играл в футбол?

— Лида! — позвал я высокую, сухощавую девочку с раскосыми серыми глазами. Сочинения Лиды Ваккар на вольную тему пользовались особой любовью у нашей учительницы Елизаветы Лукиничны из-за чувствительности, с какой Лида описывала сельские пейзажи и животных. Если верить Лидиным описаниям, то большая часть жизни лучшей гимнастки пятых классов проходила на берегах ручьев, заросших прудов, среди овечек и козочек.

— Чего тебе? — лениво спросила Лида.

— Лида, помоги этому обалдую написать, как он провел лето.

Лида, столь трогательная в своей прозе, вовсе не отличалась сентиментальностью.

— И не подумаю! — сказала она.

— Но у нас вся надежда на Ладью!..

Лида чуть смягчилась.

— У меня не выйдет.

— У тебя-то?

— Откуда я знаю, как он хулиганил летом?

— Он тебе расскажет, и он вовсе не хулиганил, правда, Ладья? Он играл в футбол, купался в ручье и пас овец.

— Скорее — его пасли, — вскользь бросила Лида. — Ладно, черт с вами!

— Вот бы мне кто с чертежником помог... — завел Ладейников.

— Знаешь что — хватит! Помощь помощью, а батрачить на тебя никто не будет...

В следующий вечер я продолжил обход дома. Покончив с нашим двором, я перешел на другой двор и тут сразу же столкнулся с неожиданностью. Дверь мне открыл Чистопрудный парень Калабухов, мой самый ожесточенный враг. Мало того, что он принадлежал к враждебному клану, он, как и я, был влюблен в Нину. Варакину. По его наущению и с его участием меня не раз жестоко избивали на катке Чистопрудные ребята. Но почему он попал в наш дом?.. Видимо, Калабухова столь же удивило мое появление.

— Ты... ты чего?.. — проговорил он, заступая мне путь в коридор.

Один на один я не очень боялся Калабухова. Отстранив его плечом, я ответил свободно:

— Деньги на торпедный катер собираю... А ты чего тут делаешь?

— К бабушке пришел... — растерянно произнес Калабухов.

Между тем передняя заполнилась жильцами, и уже прозвучал привычный вопрос: «Тебе чего?..» Я хотел ответить, но Калабухов опередил меня:

— Я его знаю, он деньги на торпедный катер собирает!

После этого Калабухов забрал у меня лист и сам провел подписку. Когда же передняя опустела, он сунул мне собранные деньги и прошипел с ненавистью:

— Попадись ты мне, зараза, на Чистых прудах!..

Утро принесло разочарование. Панков, Грызлов и Шугаев столкнулись с конкуренцией: пионеры других школ, живущие в их доме, тоже проводили подписку на катер. Нашим ребятам достались поскребыши, что-то около двадцатки. Маленькие дома Покровских переулков, выжатые досуха, дали всего десять рублей, весь наш сбор едва достиг полусотни. Звено Карнеева собрало примерно столько же, и разрыв между нашими звеньями сохранился. Мы по-прежнему ходили в героях. Принимая от нас деньги в пионерской комнате, Шаповалов растроганно произнес.

— Молодцы, ребята!.. Народ вас не забудет!

За спиной Шаповалова, распластанные по стене, скрещивались древками знамена, над ними сиял золотом пионерский горн. И слова Виктора были как золото, как кумач... Потрясенный Ладейников дал слово, что немедленно ринется на штурм карманов политкаторжан...

Вечером я снова ходил по дому, но дело у меня не ладилось. Ничего удивительного тут не было. Квартиры с рабочим составом жильцов я уже обошел и сейчас все чаще натыкался на мутноватый, отнюдь не пролетарского корня, народишко. Помню, я очень долго стучался в маленькую, обитую войлоком дверь. Наконец дверь приоткрылась, в щели, косо перечеркнутой цепочкой, возникла повязанная темным платком старушечья голова. Крошечные, мокрые глазки, скользнув по мне, обрыскали лестничную площадку. Убедившись, что я один, старуха скинула цепочку и впустила меня в сумеречную переднюю, припахивающую церковью.

— Чего тебе? — спросила она.

— Я собираю деньги на торпедный катер...

— Чего?.. — Она повернула и наклонила голову так, что ее большое, голое ухо с мясистой мочкой приблизилось к моим губам.

— Деньги... — как в микрофон, сказал я в это ухо.

Старуха цепко оглядела меня.

— Одет вроде чистенько... Да кто их, нонешних, поймет... Ну-кось, выдь на площадку.

Я шагнул за порог. Старуха накинула дверную цепочку и сказала мне:

— Погоди тут...

Возилась старуха долго. Наконец в щели показалась темная, жилистая рука, держащая какой-то сверток в газетной бумаге.

— Ступай себе с богом!.. — И дверь захлопнулась.

Я развернул сверток. В нем оказались куски ситника, позеленевшие корки черного хлеба, маленькая копченая, медного цвета, рыбка и сморщенное яблоко. Первым моим движением было постучаться в дверь и швырнуть старухе ее оскорбительное подаяние. Да ну ее к черту! Положив сверток у порога, я постучался в другую дверь.

Мне никто не ответил, видимо, квартира была пустая. Я взбежал этажом выше и нажал кнопку звонка раньше, чем подумал, что сюда мне звонить не следует. Здесь жила Валя Гронская.

Лет пять-шесть назад моего деда, врача, вызвали ночью к больной девочке. У девочки оказался дифтерит, она задыхалась. Дед, хороший и опытный врач, принял необходимые меры и, как любили говорить в то время, спас больной жизнь. Девочка эта была Валя Гронская, сказочное существо, которому я издали молчаливо поклонялся. Сколько раз с восторгом и смирением смотрел я, как ее привозят из гостей или с прогулки, летом — в лакированной пролетке на дутых шинах, зимой — в высоких санях с меховой полостью, разряженную, словно маленькая дама, смугло-румяную, грациозно-капризную, чуждую и нашему двору с его винными складами и винным запахом, с толстозадными битюгами и хмельными краснолицыми возчиками, чуждую мне и моим дворовым сверстникам, всем нашим делам, дружбе, вражде и оттого еще более притягательную.

Хотя мне было тогда семь лет, я не был вовсе лишен социального чувства — меня, внука врача и сына инженера, упорно звали во дворе «буржуем». Мы жили очень скромно, только-только сводя концы с концами, и ничего буржуазного в нашей трудовой семье не было. Меня до черноты в глазах злило, когда Женька Мельников, сын завмага, кругленький, сытенький, добротен и нарядно одетый, отвлекался от бутерброда с ветчиной, чтобы крикнуть мне набитым ртом: «Буржуй!» — «Сам ты буржуй — ветчину жрешь!» — отзывался я, но освободиться за счет Женьки от ненавистной клички мне не удавалось. Я не понимал тогда, что дело тут не в зажиточности, а в моем непролетарском происхождении. Потребовалась вся бескорыстная и самоотверженная деятельность деда, лечившего жильцов нашего дома бесплатно, мои собственные футбольные и хоккейные подвиги, потоки крови из носа Женьки Мельникова и других, особо рьяных любителей меня подразнить, чтобы оскорбительное прозвище отпало. И вот мне, так болезненно воспринимавшему слово «буржуй», никогда не приходило в голову отнести его к Вале Гронской.

Как я уже говорил, уважая славный народ, населяющий наш большой дом, дед не брал денег за лечение. Он не отступил от своего правила и в случае с Валей Гронской. Очарованные

врачебным искусством и еще больше бескорыстием деда, Гронские решили отблагодарить его через внука и пригласили меня на день рождения Вали.

Из старой отцовской толстовки мне сшили штаны и курточку, и в назначенный день и час, зажимая под мышкой роскошного сытинского издания «Детство и отрочество» Толстого, я вошел в залитый огнями, сверкающий позолотой мебели и гладью зеркал чертог. Я не подозревал, что на свете существует такая роскошь: стены увешаны картинами в золотых багетных рамах, одна из них изображала Валию во весь рост с красным цветком в матово-черных волосах; на высоких постаментах — хрустальные и фарфоровые вазы, на этажерке — фигурки из слоновой кости. Иные стены были затянуты шелковыми тканями, иные украшены лепкой. Сколько там было комнат — не знаю, по-моему сто. Слепленный, оглушенный, как-то тяжело очарованный, я был в полубреду. Впрочем, во мне хватило ясности понять, что я очень плохо одет по сравнению с другими детьми: бархатными мальчиками и кружевными девочками. Я сознавал также, что жалок в своем поведении: прилепившись к Вале, я следовал за ней, как невзрачная тень. Ей, наверное, хотелось посеCRETничать с подругами, поговорить о чем-то своем со знакомыми мальчиками, но стоило ей уединиться с кем-либо, как тут же рядом вырастал я, безгласный и настырный со своей ненужной преданностью.

Там играли в фанты, и, конечно, мне выпало петь, и, красный, слепой, полумертвый, я тупо стоял посреди комнаты не в силах раскрыть рта, хотя рыжеволосая Валина тетка, с голыми полными руками, в оспенных прививках величиной с медные пятаки, трижды принималась наигрывать на огромном черно-пламенном рояле «В лесу родилась елочка». А когда я наконец решился и тихо, фальшиво затянул: «Смело, товарищи, в ногу», на меня зашикали. Оказывается, мой фант пропустили, и сейчас какая-то девочка, ловя воздух маленьким круглым ртом и проглатывая его вместе с началом и концом слов, но громко и самоуверенно читала по-немецки «Лорелею».

А потом в коридоре на меня вдруг стал наскакивать козелком высокий, тонкий мальчик с завитой кудряшками головой. То ли его обозлила моя прикованность к Вале, то ли он почувствовал во мне пария и возжаждал легкой славы — не знаю. Он зажал меня в угол и тыкал в грудь хорошо пахнущей шелковой головой, толкая острым плечиком, а я только ежился, смущенно и жалко улыбаясь. Он был года на два старше меня и на голову выше. Но не это меня останавливало, — страшно было нарушить порядок в его бархатном, с кружевным воротничком, костюмчике, в его тугих, аккуратных кудряшках. И тут я заметил, что Валя со странным интересом следит за упражнениями своего приятеля. Наверное, я делаю страшную глупость, что позволяю ему измываться над собой: мне дана возможность вмиг стать героем, возвыситься в глазах Вали, а я стесняюсь и робею, как, девчонка.

И когда он снова боднул меня в грудь, я встретил его ответным ударом плеча в скулу. Он отскочил с удивленным и обиженным видом, затем его тонкое личико скривилось, и он кинулся на меня. Через секунду он лежал на полу в своем костюмчике и кудряшках, а я сидел у него на животе. Он позорно разревелся, и на его рев из гостиной прибежали взрослые. Победа не принесла мне славы. Мальчику все сочувствовали, а на меня смотрели раздраженно и осуждающе. Даже Валя, встретившись со мной взглядом, пренебрежительно дернула плечом и пошла за апельсином для моего противника.

Незаметно выскользнул я из этого богатого и враждебного дома, выскользнул навсегда. Меня обуревали сложные и сильные чувства. Сводились они к одному: я мечтал еще об одной революции, которая покончила бы с такими, как Гронские. Придумывалось хорошо и сладко: вот я въезжаю на белом коне в квартиру Гронских, бью зеркала, рушу обстановку и увожу на луке седла бесчувственное тело Вали, чтобы потом оживить его для новой, прекрасной жизни... С тех пор прошло шесть лет, и не понадобилось новой революции, чтобы лишить

Гронских их прежнего величия. Я понял это, едва переступил порог. Они, правда, сохранили свое барахло, но замаскировали его, чтобы оно не бросалось в глаза: все кресла, стулья, диваны были затянуты полотняными, некогда белыми, а сейчас грязноватыми чехлами. И картины — их стало куда меньше — тоже зачехлены, и люстра с хрустальными висюльками скрыла жаркое сверкание в пыльном мешке, и даже Валя, открывшая мне дверь, со своими туго и гладко зачесанными назад, к пучку, черными волосами, в узком темном платье и серых нарукавниках, вся какая-то сжавшаяся в самой себе, показалась мне зачехленной. А вот старик Гронский, выглянувший в переднюю, и впрямь был облачен в полотняный чехол поверх бумажных брюк и рубашки — «смерть прачкам»; да и Валина мать, принесшая из кухни запах прогорклого масла, была зачехлена понизу — так выглядел на ней полотняный фартук, скрывший ее большой живот и толстые ноги.

— Кто там пришел? — спросила она сильным носовым голосом, в котором звучала раздраженная тревога.

— По-моему, сын доктора Ракитина, — небрежно ответила Валя, хотя она отлично узнала меня.

Она сильно изменилась с той далекой поры, но не в худшую сторону: прекрасная девочка стала строго и грустно красивой девушкой. И хотя жажда мести не угасла в моей душе, я поправил ее мягко:

— Не сын, а внук...

— Что ему нужно?

Валя чуть приметно усмехнулась.

— Чего тебе нужно?

— Мы собираем деньги на торпедный катер.

— Мы?.. — Валя высокомерно вскинула бровь. — Ты что — Николай II?

В этом зачехленном обиталище я чувствовал себя посланцем светлого, широкого мира, за моей спиной было море и небо, дирижабли и торпедные катера, Красная Армия и все, чем жили настоящие люди моей страны. Мне легко давалось спокойствие.

— Мы — это московские пионеры, — сказал я.

Короткая улыбка, скорее гримаска, тронула Валины губы.

— Я думала, ты найдешь себе занятие получше, чем побираться по квартирам.

— Мы не побираемся, — сказал я, бессознательно угадав, что сильнее всего Валю задевает словечко «мы». — Мы помогаем строить Красный флот!

Не знаю, произвела ли на Валю впечатление эта звонкая фраза, но старик Гронский ощутил некоторую тревогу.

— Дай-ка список! — сказал он. — Это что — приказ, указ, наказ?..

— Никакой не приказ, кто хочет, тот и подписывается.

Старик Гронский прочел список и убедился, что тут дело добровольное.



— Раз это не приказ, наказ, указ, — сказал он, возвращая мне подписной лист, — то потрудись закрыть дверь с той стороны.

Странно, почему-то я был уверен, что он непременно подпишется, хотя бы из осторожности. Но его отказ меня не обескуражил. Напротив, было даже приятно, что все так четко определилось и нечистые руки Гронского не коснулись нашего дела. В глазах Вали светилось торжество: ей казалось, что ее отец унизил меня.

И вдруг я рассмеялся оттого, что, вопреки жалкому Валиному торжеству, я все-таки взял реванш. И Валя поняла это — резко наклонив голову, чуть наискось к плечу, она спрятала лицо и быстро прошла в комнату...

Я иду дальше, от двери к двери, с лестницы на лестницу, с этажа на этаж, из подъезда в подъезд. Я вдавливаю круглые кнопки электрических звонков, дергаю за веревочные хвосты старинные колокольчики, отзывающиеся тонким, жалобным треньком, стучусь костяшками пальцев, ребром ладони, кулаками, носком и пяткой ботинка в молчаливые то деревянные, то обитые клеенкой по войлоку, а то и жестью двери. Чаще мне открывают, иногда нет. Чаще мой подписной лист пополняется, иногда нет. Я начинаю замечать, что у дверей тоже свое лицо. Есть двери добрые, они непременно широко распахнутся перед тобой в удачу; есть двери злые — лишь посветят узкой щелью и тут же захлопнутся; есть мертвые двери, раньше чем толкнешься в них, уже знаешь — они не откроются. Иногда попадаются двери безликие: ни

звонка, ни колокольчика, ни списка жильцов, ни медной дощечки, ни почтового ящика, никакой царапины, никакой надписи на гладких досках, ни захоженного половичка перед ними, ни железной сетки, ни просто следов...

Вот за такой дверью я наткнулся на самого странного человека из всех населяющих наш большой дом.

В синеву бледный, с рыжими перьями волос, торчащими вокруг гладкой костяной плечи, с морковными глазами, он поразил, ошеломил меня до испуга. Едва я пробормотал положенную фразу о сборе средств на торпедный катер, как он затрясся от хохота и резким, птичьим голосом закричал:

— Что?.. Торпедный катер?.. Катись на легком катере к чертовой матери!..

Но тут же, вопреки своим словам, схватил меня за плечи и втащил в прихожую.

— Зачем тебе катер, мальчик? — кричал он. — Что ты с ним будешь делать? Кататься на Чистых прудах?

Я пробормотал, что катер нужен не мне, а нашему Военно-Морскому Флоту.

Он всплеснул руками.

— Такой маленький, а уже милитарист!..

Я решил по созвучию слов, что «милитарист» нечто вроде «милиционера». «Наверное, какой-нибудь кустарь или бывший нэпман, — подумал я. — Это они боятся милиционеров».

— Милиция тут ни при чем, — с достоинством сказал я. — Хотите подписывайтесь, хотите нет.

— Ты плохо агитируешь, мальчик! — вскричал человек. — Ты должен убедить меня, зачаровать, как василиск! Ты знаешь, кто я такой?

«Псих!» — чуть не слетело у меня с языка, но вместо этого я только мотнул головой.

— Я обыватель, — грустно сказал человек и сел на окованный жестью сундук, занимавший чуть не половину прихожей. — А ты понимаешь, что такое расшевелить обывателя, пробудить его для общественной жизни?.. — Он пристально посмотрел на меня своими морковными глазами. — Ну, а что такое обыватель — это хоть ты знаешь?

— Гад нашей жизни! — твердо ответил я.

— Неплохо! — сказал человек. — За это я дам тебе копейку... Не тебе, не тебе, — замахал он руками, — а на твой дурацкий катер.

Он скрылся в комнате и тут же вернулся, зажимая что-то в кулаке.

— Держи! — Он театральным жестом разжал кулак, на ладони лежал новенький рубль. — Бумажная копейка!.. — засмеялся он радостным, детским смехом.

Окончательно сбитый с толку, я крупно вывел на подписном листе «1 рубль» и сказал:

— Распишитесь.

— Я верю, верю, мальчик, что ты не истратишь мой рубль на мороженое! — закричал человек.

— Распишитесь, пожалуйста, иначе я не могу принять деньги.

Человек взял карандаш и размашисто расписался. Я посмотрел на его подпись и густо покраснел. Едва ли хоть одно имя появлялось в ту пору так часто на афишах, как имя рыжего, вихрастого человека. И ведь я знал, что знаменитый музыкант живет в нашем доме, но принимал за него совсем другого — почтенного, дородного старца с нежной сединой длинных легких волос, ниспадающих из-под старомодной фетровой шляпы на бархатный воротник пальто. Кто же тогда тот старый шарлатан, с благодным достоинством принимавший восторженные взгляды нашей дворовой вольницы? Или рыжий дурачит меня?..

— А у вас есть скрипка? — брякнул я.

— Виолончель, мальчик, виолончель! — строго поправил человек. — А теперь, когда мое инкогнито раскрыто, оставь меня, воинственное дитя. Я создан не для битв. То, что в мир приносит флейта, то уносит барабан...

Сейчас, когда я знал, кто он, его болтовня уже не раздражала меня, так же как и внезапные жесты и весь причудливый облик. Бессознательно я понимал ту вольную игру свободных душевных сил, что присуща щедро одаренным артистическим натурам...

Рубль музыканта оказался моей последней удачей в этот вечер. Подписной лист выглядел жалко. Что оставалось делать? У меня было девять рублей, скопленных на покупку трех томов «Виконта де Бражелона» в издании «Академии». Я превратил рубль виолончелиста в десять, в конце концов я и так знал «Бражелона» почти наизусть.

Но в школе меня ждал удар, перед которым померкли мои собственные неудачи. Ладейников собрал всего два рубля, и то рубль он получил от матери в награду за сочинение, написанное Лидой Ваккар. Пока мы возились с Ладейниковым, готовя его к контрольной, двое ребят из звена Карнеева обошли дом политкаторжан и собрали обильную жатву. Самое возмутительное было то, что они даже не жили в этом доме. Я хотел крупно поговорить с Карнеевым — его звено, собрав снова около пятидесяти рублей, почти догнало нас, — но тут внезапно забрезжил луч надежды.

В нашем классе учился Юра Петров, загадочный парень. Высокий, тонкий, с хрупкими костями, которые он постоянно ломал — то прыгая с лыжного трамплина, то на катке, то занимаясь фигурной ездой на велосипеде, — Петров представлял загадку и для учителей, и для нас, товарищей. Он лучше всех играл в баскетбол и в волейбол, лучше всех бегал на коньках и на лыжах, был настоящим виртуозом велосипедного спорта, но он не входил ни в одну команду. На все наши уговоры он отвечал примерно так: «Не могу, ребята. Перед соревнованием я обязательно чего-нибудь сломаю и подведу команду». — «А ты не ломай, поберегись». — «Это мое дело, — отвечал он надменно, — хочу ломаю, хочу нет». Учился он то прекрасно, то из рук вон плохо. От собраний старался отлынивать, но когда это не удавалось, всегда брал слово и закатывал такие речи, что казалось, нет более заинтересованного в школьной жизни человека, чем Юрка Петров. Однажды нашему звену поручили сколотить тридцать почтовых ящиков для рационализаторских предложений рабочих и служащих Московского почтамта и написать тридцать призывов. Юрка Петров взялся нам помогать и обнаружил такую ручную умелость, что мы все ящики уступили ему, а сами занялись плакатами. Тогда я ему сказал: «Юрка, почему ты не вступишь в пионерский отряд?» — «Э, нет, — ответил он, — позволь мне умереть беспартийным». И вот этот Юрка неожиданно попросил у меня подписной лист. Почему-то я сразу поверил, что Юрка — наше спасение, но будет ли это честно в отношении Карнеева?

— Да пусть собирает, — пожал плечами Карнеев, когда я рассказал ему о предложении Петрова.

— Ну, а как же соревнование? Петров не пионер.

Карнеев улыбнулся, мне показалось, немного свысока.

— Какая разница, если деньги идут на общее дело?

— А зачем вы у нас дома перебиваете? — вспыхнул я.

— Что, это ваши собственные дома, что ли? — спокойно ответил Карнеев.

— Не валяй дурака!.. У вас никто не живет в доме политкаторжан, чего вы туда сунулись?

— Мы спорим, как два золотоискателя! — засмеялся Карнеев.

— Ладно, — сказал я примирительно. — В общем, ты прав, дело действительно общее...

Юрка Петров оправдал самые смелые мои надежды... Он собрал рекордную сумму — шестьдесят рублей. Около Лялина переулка недавно открылся маленький нелегальный рынок. Юрка Петров решил обложить данью торговков ранними овощами, варенцом и салом. Он показывал торговке лист с печатью и коротко бросал: «А ну, тетка, доставай кошель!» И тетки, видимо полагая, что этим они откупаются от преследований милиции, раскошеливались.

Вся эта история отдавала чем-то незаконным. Но Юрка Петров со смехом доказывал, что торпедный катер в равной мере будет защищать и трудовой народ и этих спекулирующих теток. «Да, но ты обманул их...» — «Ничего подобного! Я же не говорил им, что это торговый сбор, а на листе прямо сказано, куда пойдут деньги». Все же подписной лист я у него отобрал. Тем более, что Карнеев хоть и посмеялся над Юркиной проделкой, но сказал: «Чистое дело надо делать чисто».

Наше звено лихорадило, случайные всплески удачи не способны были противостоять ровному напору карнеевского звена.

После занятий мы по привычке шли на Чистые пруды, обмениваться мнениями и составить план очередной кампании. Май в этом году лихорадило, как наше звено. То он синел просторным, чистым небом, гнал из прибитых дорожек бульвара полевые запахи пробуждающейся земли и золотил воды пруда, то насыпал низкие серые облака, сочившиеся колкой изморозью, и морщил свинцовую воду жесткими складками. И мы, то скинув пальто и курточки, то пряча назябшие уши в поднятые воротники, топтались по дорожкам бульвара, тщетно пытались проникнуть в тайну карнеевского успеха.

— Они не в одиночку ходят, — говорил Ворочилин, — а всегда группами. Поэтому они никого не боятся. А я вот сунулся один в чужой двор — и сразу по шее заработал.

— Они стихи читают, — добавила Лида Ваккар.

— Какие стихи?

— Да Карнеев написал про торпедный катер. Как он бороздит море на страже наших границ.

— Тоже мне Художественный театр! — усмехнулся Ладейников.

— Ну и что же, — заметил спокойный, основательный Грызлов, — и взрослые агитбригады так делают.

— Чего же вы раньше молчали? — сказал я. — Лида, может, ты напишешь стихи?

— Я прозаик, — сухо ответила Лида.

— А разве прозаики не пишут стихов? Возьми Горького, Алексея Толстого...

— Ну, а я вроде Чехова — только прозу.

— Да, — сказал я горько, — Карнеева нам сроду не победить, мы не те люди!

Я думал подзадорить ребят, но, скорее, поверг их в уныние.

— Там одна Нинка Варакина чего стоит! — мечтательно проговорил Ладейников.

— А чего она?..

— Да вытаращит свои синие глазищи, — ревниво сказала круглолицая толстуха Кошка, — и все сразу раскисают.

— У нее глаза не синие, а карие, — поправил Грызлов.

Я оглядел женский состав своего звена: хорошие девчата, но вряд ли кто раскиснет от их глаз. Надо же, чтоб так не повезло: ни поэтов, ни красавиц!

— А я петь могу, — вдруг сказал Ладейников, — и на баяне играю.

— Что ты еще умеешь? — спросил я насмешливо, потому что все еще не мог простить ему дома политкаторжан.

— Ты погоди! — перебила меня Кошка. — А если он будет петь песню про торпедный катер?

— Откуда мы ее возьмем?

— Мотив любой годится, хоть «Юного барабанщика», а слова написать можно.

— Но у нас же никто не умеет писать стихи.

— Хорошие — да, а плохие даже я напишу. Для песни любые слова сойдут.

— И мы будем петь, как слепцы под окнами?

— А вон идет Шаповалов, давайте его спросим. Витя!.. — тоненько закричала Кошка.

Шаповалов, шедший по боковой дорожке и, видимо, не замечавший нас, вздрогнул, сдержал шаг, но не оглянулся.

— Виктор!.. — басисто, в голос, крикнули Ладейников, Грызлов, Панков и Шугаев.

Шаповалов остановился, чуть закинул голову, будто стараясь угадать, откуда летит зов, затем повернулся и пошел к нам, зажимая рукой воротник куртки.

Я уже говорил о необыкновенной способности нашего вожатого вспыхивать и краснеть лицом.

Но таким пламенеющим я еще никогда его не видел.

— Каюсь, ребята, — сказал он, подходя, — накрыли на месте преступления. — Он приоткрыл ворот куртки: на его длинной, стройной шее не было пионерского галстука.

С рядовых пионеров за такое дело строго спрашивалось, но промашка любимого вожатого показалась нам трогательной. Сам же Виктор не мог оправиться от смущения и все время, пока мы наперебой рассказывали ему о наших планах, горел факелом. Наши соображения казались ему «мировыми».

Впервые на моих глазах Шаповалов со всем соглашался, не вносил ни поправок, ни предложений. Он так мучился тем, что нарушил пионерский этикет, что ему не терпелось уйти.

— Можно подумать, он не галстук забыл надеть, а штаны, — заметил Ладейников, когда Виктор, благословив все наши начинания, поспешно удалился.

— Хамила же ты, Ладья! — возмутилась Кошка. — Вите дорога пионерская честь!

— «Пионерская»! — передразнил Ладейников. — Помешались все вы на Витьке...

Школьная молва трубила о неминуемой победе Карнеева, но мы не вешали носа. Ладейников уже разучил мотив «Юного барабанщика», Кошка обещала на уроке физики дописать последний куплет песни. Мы наметили маршрут и решили отправиться в путь сразу после окончания занятий.

А в раздевалке ко мне подошел Сергиенко, второгодник из звена Карнеева, и сказал:

— Брось, кум, тратить силы, ступай на дно.

— Ты о чем?..

— Разве не знаешь? — говорит мне Сергиенко, а у самого губы белые и подрагивают. — Витька Шаповалов проел наши денежки.

Нередко бывает, что при известии о каком-либо несчастном случае — аварии или катастрофе — люди задают бессмысленные вопросы, вроде: «В котором часу?» или: «На какой улице?»

— До копейки?.. — бессмысленно спросил я.

Сергиенко оторопело поглядел на меня и отошел. И тут я увидел, что вокруг все наши: и Карнеев, и Ворочилин, и Глуз, и Лида Ваккар, и Кошка, и Ладейников, и Грызлов, и Панков, и Шугаев, и Нинка Варакина, и глаза у нее красные, будто она плакала, и другие ребята...

Растрату обнаружил председатель нашей базы, Мажура, неожиданно вернувшийся с воинского сбора. Мажура запер дверь пионерской комнаты и набил Витьке морду. Что было с Шаповаловым дальше, не знаю: на нашем пути мы с ним больше не встречались...

За мою жизнь мне пришлось видеть немало человеческих падений. С высот величия и власти низвергались в позор и бесславие люди покрупнее нашего пионервожатого. Помню, с какой мукой я и мои сверстники выдирали из сердца Кнута Гамсуна, когда певец Глана и Виктории стал фашистом. И все же никогда не переживал я такой боли... Витька был нашим героем, его похвала или осуждение значили для нас все, мы хотели походить на него, мы даже не

ревновали к нему наших девчонок, поголовно в него влюбленных, настолько неоспоримым было его превосходство. Но я думал не только о нем — я думал, как серьезно и доверчиво вручали нам люди свои деньги, а мы, пусть невольно, обманули их; я думал о бледных, строгих и добрых лицах наборщиков и о Борькином пяточке, единственном его достоянии. К чему были все наши волнения, радости и печали, победный восторг и горечь поражения...

...Всем надо было в разные стороны, но, не сговариваясь, мы двинулись к Чистым прудам. И чего нас сюда понесло? Было ветрено, знойно, а возле серой, угрюмой воды еще холодней и неприятней. Кто-то вспомнил, что на этом вот самом месте мы окликнули Витьку Шаповалова.

— Как он тогда вертелся, гад! — заметил Ладейников. — Чуяла кошка, чье мясо съела.

— Мы-то думали, он из-за галстука, — невольно усмехнулась Лида.

— А я, кстати, почувствовал, что от него винищем несет, только сам себе не поверил.

— Хватит, раскаркались!.. — с обидой и злостью крикнула Нина Варакина.

Разговор умолк.

— И чего же мы будем делать? — нарушил наконец молчание унылый голос Ворочилина.

— Как чего? — Карнеев поднял поглубевшее от холода худенькое лицо. — Достанем новые подписные листы и опять соберем деньги.

Мне никогда не забыть, как спокойно, уверенно и прекрасно прозвучали эти простые слова.

— Ну да... конечно... — удивленно пробормотал Ворочилин. — А чего же еще?..

Все рассмеялись. Мы думали, что смеемся над наивной растерянностью Ворочилина, а мы смеялись от радостного, гордого чувства...

И тут появилась длинная, шарнирная фигура Юрки Петрова.

— Гражданская панихида по товарищу Шаповалову окончена?

— Знаешь, Петров, катись ты со своими шуточками куда подальше! — сказала Лида Ваккар.

— Дальше некуда! — беззаботно ответил Петров. — Я думал, думал и решил прикатиться к вам. Только вот как быть с присягой? Неловко старому, больному человеку говорить: «Я, юный пионер, даю торжественное обещание...»



Шампиньоны



Все свое детство я собирал утиль: металлолом, пустые бутылки и, с особым усердием, бумагу. В стране был бумажный голод, и мы, школьники, испытывали это на себе. Каждый тетрадочный лист нам полагалось использовать с предельной плотностью. Бывало, учителя снижали отметку на контрольной за слишком размашистый почерк. Каким же радостным событием было развернуть новенькую тетрадь или припахивающий клеем альбом для рисования! Изредка тетрадочные листы были плотными, глянцевиыми, белыми с голубым отсветом от линеек, чаще — газетно-тонкими, серыми, с крупными волокнами, а то и с плоскими кусочками древесины. Я любил выковыривать из бумаги эти бедные останки погубленных деревьев. Мои тетрадочные листы напоминали сито.

Когда наша новая вожатая Лина Кузьмина объявила «бумажный аврал», для нас это было

желанным делом.

— Собирать будем на Почтамте? — деловито спросил Карнеев.

— На Почтамте, само собой, — ответила Лина. — Но каждый должен посмотреть и у себя дома, нет ли старых газет, обоев, всякой, как говорит моя бабушка, лохматуры!

Как важно бывает одно вовремя сказанное слово! После Шаповалова у нас сменилось четверо вожатых, и ни одному не удалось поднять дух отряда до прежнего накала, ни с одним не возникло настоящей душевной близости. Каждый новый вожатый, памятуя о позорном падении Шаповалова, невольно с первых же шагов старался показать, что он человек совсем иного склада, чем наш бывший, поверженный в грязь кумир. Шаповалов был горяч, речист, честолюбив, взрывчат, позерски-живописен, притом доступен и прост. После него к нам приходили какие-то надутые и замороженные молчаливники. Мишурному блеску Шаповалова они противопоставляли сдержанность, доходящую до сухости, речистости — немоту, панибратству — недоступность. Возможно, задержись кто-либо из этих вожатых подольше, и лед был бы сломан. Но председателю базы Мажуре не терпелось поднять активность некогда лучшего отряда в школе, и вожатые менялись у нас что ни месяц.

Вот потому незамысловатая шутка Лины Кузьминой вызвала у всех радостную, дружную улыбку. На нас сразу повеяло чем-то простым, добрым, открытым, мы признали в Лине своего человека. А Лина и правда была хоть куда: крепкая, мускулистая, с решительными стальными глазами, и если проглянуть кукушечью пестроту ее веснушчатого лица, то очень красивая: нос с легкой горбинкой, нежный и строгий овал, легкий пушок над чуть вздернутой верхней губой.

И я с былым победным задором крикнул:

— Второе звено, за мной!

Мы пошли на Чистые пруды. Морозы в этом году нагрянули сразу после ноябрьских праздников. На многих деревьях еще сохранились медные листья; тревожимые ветром, они жестко терлись друг о дружку. Снега не было, лишь в желобках твердо скованных песчаных дорожек, у подбоя бурого, с зелеными прожилками газона белела сухая крупка. Мы шли, давя каблуками хрусткий ледок, затянувший лужи. Широко и светло блеснул всем своим чистым зеркалом замерзший пруд. По краю, вскальзывая сбитыми сапогами, словно пробуксовывая, шел сторож со скребком и зачищал неровности.

— Скоро каток откроется! — мечтательно сказала Нина Варакина.

В этом году классы были перетасованы, мы оказались с Ниной в одном классе и в одном звене. И еще несколько ребят из звена Карнеева попало к нам. Но в глубине души они остались верны старым знаменам. Это стало ясно, едва начался разговор.

— Кровь из носа, мы должны побить Карнеева! — сказал я.

— Держи карман шире! — как на пружинке, подскочил маленький альбиносик Костя Чернов.

— Конечно, побьем! — уверенно сказала Лида Ваккар.

— Всегда мы вас били и сейчас побьем! — Чернов яростно вытаращил свои кроличьи глазки.

— Притормози, Костя, — остановил его я. — Ты, кажется, забыл, в чем ты звене.

— Как в чьем?.. А, ну да... — Чернов не то чтобы смутился, а как-то опечалился.

И я опечалился. Трудно рассчитывать на успех, если и другие ребята, перешедшие к нам из звена Карнеева, разделяют чувства Чернова. Я взглянул на Нину Варакину.

— А тебе не все равно, Чернов, где работать? — лениво проговорила Нина.

— Кабы было все равно, то лазили б в окно... — пропищала Тюрина, «девочка в тигровой шкуре» — она носила шубку из шкуры тигра, убитого ее отцом на Амуре.

Мимо нас, поддавая ногой консервную банку, грохотавшую по твердо промороженной земле, как танк, прошли Калабухов, курносый предводитель Чистопрудных Лялик и его адъютант Гулька. Калабухов бросил на меня злобный взгляд, — я сидел на скамейке рядом с Ниной, — но воздержался от враждебных действий.

Уже смеркалось, когда, составив план действий, мы двинулись по домам. В лиловатом воздухе, какой бывает в Москве погожим морозным днем поздней осени, мягко таяли деревья, и свет рано зажегшихся фонарей казался серебряным. Мы шли с Ниной по главной аллее в сторону Телеграфного переулка.

— Меня все-таки очень беспокоит Чернов и компания, — говорил я. — Мы должны обязательно победить, а то все развалится. Ребятам надоело, что мы какие-то вторенькие...

— А разве можно приделать человеку чужие руки? — неожиданно спросила Нина.

— Какие руки?

— Ну, помнишь, Конрад Вейдт...

— А, «Руки Орлаха»! Да чепуха все это!

— Какие у него глаза! — сказала Нина. — Я ни у кого не видела таких глаз. Запавшие, огромные...

— Послушай, — прервал я, — может, мы зря включили Чернова, Тюрину и Сергиенко в одну бригаду?

— Ох! — сказала Нина. — Настали веселые времена. Кроме утиля, ты уже ни о чем не можешь говорить!

Это была правда: когда меня что-нибудь захватывало, я, будто лошадь в шорах, уже ничего не видел по сторонам. И тут я понял вдруг, за что еще так люблю пионерскую работу, в особенности авральные дела. В эту пору я немного отдыхал от той постоянной, изнурительной заботы, какой была для меня Нина. Ведь вот я даже не сразу понял, что взамен Витьки Шаповалова у меня появился новый соперник — Конрад Вейдт. Все девчонки влюблялись в киноартистов, но отвлеченная любовь не мешала их романам с одноклассниками. А Нина отдавала им свое сердце безраздельно, будто герой мог сойти с экрана и принять ее дар.

Мы замолчали. По освещенной фонарями земле наперерез мне текла четкая и стройная Нинина тень. И вот по этой тени я впервые увидел, как сильно изменилась она за годы нашей дружбы. Прежде ее коротенькая, круглая тень катилась колобком, потом она стала все утончаться, и вот сейчас, повзрослев раньше своей хозяйки, стала тенью маленькой женщины. И я пожалел, что не могу сейчас же ринуться в бумажный водоворот...

Мы перешли линию трамвая. В устье Телеграфного переулка маячили знакомые фигуры: Калабухов, Лялик, Гулька. Они поджидали нас, вернее, меня. Тут не отделаешься маленькой дракой. До чего же не вовремя! Я не смогу явиться завтра на Почтамт с разбитым лицом.

— У тебя есть медяки? — спросил я Нину.

— Тебе нельзя сейчас драться, — быстро сказала она, — ступай к Хоркам.

На углу Телеграфного и Чистых прудов в полуподвальном этаже жили два брата с нелепой фамилией Хорок. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе.

— А зачем я к ним пойду? — проговорил я нерешительно.

— У них мать в театре работает, пусть Мишка притащит старые афиши!

— Ну что же! — Я улыбнулся. — Благородный повод, чтобы не дать набить себе морду. До завтра! — Я помахал Калабухову рукой и сбежал вниз по крутым ступенькам.

От своей матери, цыганской певицы, братья Хорок унаследовали южную смуглоту лиц, глаза, как влажные маслины, жесткую кудрявость иссиня-черных волос. Старший, Миша, был тучный подросток, с томной округлостью движений, сонно-приоткрытым ртом, лентяй и меланхолик. Мне думается, в какой-то мере его меланхолия была порождена однообразной и утомляющей необходимостью сто раз на дню объяснять разным людям, почему он «Хорок», а не «Хорек», коль уж носит такую фамилию.

Младший, Толя, такой же смуглый, кудрявый и черноглазый, во всем остальном был вовсе не похож на брата: худенький, с подвижными, тонкими мускулами лица, с быстрыми, всегда занятыми руками, полный неиссякаемого любопытства к окружающему. Старший с неохотой влачил по жизни свое заленившееся тело; младший, весь напоенный внутренним движением, был прикован к постели детским параличом.

Когда я вошел, Толя, высоко подпертый подушками, мастерил что-то из кусочков картона.

— Здорово, Ракитин! — закричал он радостно.

Миша валялся на тахте; он только закатил глаза, показав голубые белки, и вздохнул.

— Что скажешь о новой вожатой? — жадно спросил Толя.

— Поживем — увидим, — ответил я удивленно, хотя уже мог бы привыкнуть к тому, что Толе ведомы все наши школьные дела. — А как продвигается дрессировка Мурзика?

— Неважно. По-моему, Мурзик считает меня никудышным дрессировщиком. — Толя вдруг сделал большие глаза и приложил палец к губам.

Со стороны тахты слышалось сонное бормотание:

Грустно алый закат смотрел в лицо...

Грустно алый закат смотрел в лицо...

Я обомлел — Хорок-старший сочинял стихи! Вот уж не думал, что он способен на такой лирический подвиг!

— Грустно алый закат... — томно простонал Миша и замолк, по-судачьи приоткрыв рот.

— Плохо твое дело, Ракитин, — сказал Толя. — Знаешь, кому посвящены стихи?

— Заткнись! — вяло донеслось с тахты.

— Вон как! — догадался я. — Бедный Конрад Вейдт.

— А что? — заинтересованно спросил Толя. — У Нины новый герой?

— Да... В «Маяке» подряд шли «Человек, который смеется» и «Руки Орлаха»... Братцы, вот какое дело. Ваша мать работает в театре, там до черта старых афиш и вообще всякой лохматуры, — я невольно повторил выражение Лины.

— Опять утиль? — с унылым отчаянием произнес Миша.

— Да, опять! Кстати, почему ты не был на сборе?

Миша не ответил.

— Зубная боль в сердце, — засмеялся Толя. — Грустно алый закат смотрел в лицо.

— Хотя бы один мешок, — сказал я Мише заискивающе.

— Мешок? — повторил Миша, приподнявшись на локте. — Чтоб я потащил мешок?

— Мешка мало! — решительно сказал Толя, и глаза его загорелись. — Он притащит два мешка!

— Сумасшедший! — пробормотал Миша.

— Мое условие: стихи против двух мешков.

— Стихи? — недоверчиво, с любопытством повторил Миша. — Какие стихи?

— Твои собственные, я только их dokonчу. Идет?

— Идет!

— Пиши! — Толя на миг задумался, сморщив свой смуглый лоб, затем быстро прочел:

Грустно алый закат смотрел в лицо.

Я сидел у окна и ел яйцо.

Вдруг подходит она, на ней нет лица.

Стало жаль ее, не доел яйца...

Я расхохотался, но Хорок-старший даже не улыбнулся. Он взял карандаш и стал записывать стихи. Я с чувством пожал сухую, горячую Толину руку. Почин был сделан...

На другое утро, до занятий, наша тройка — Нина Варакина, Павлик Аршанский и я отправились на Почтамт. В семь часов утра на дворе еще была ночь, устало горели фонари; визгливо скрипнув примороженными петлями, глухо хлопали двери парадных за спешащими на работу людьми. Наш тихий Телеграфный переулок даже в праздники не бывал таким людным. Обгоняя друг друга, шли на работу печатники, наборщики, брошюровщики, офсетчики, переплетчики, населяющие наш большой дом. Той же дорогой, что и мы, шли в утреннюю смену телеграфисты, почтари, продавцы газет и журналов из соседнего дома. Шли рабочие-металлисты из дома напротив, бежали к спасательному кольцу «А» электрики с

МОГЭСа, рабочие фабрики «Красный Октябрь», завода «Серп и молот», тяжело шагали в своих робах метростроевцы...

— Помнишь? — сказал Павлик.

Конечно, я помнил. Таким же вот ночным осенним утром мы шли с ним четыре года назад на Почтамт, чтобы взять последнюю преграду, отделяющую нас от красных галстуков. Какими мы были маленькими, робкими, как боялись, что нас не пропустят в священные недра Почтамта! А сейчас мы ветераны, пионеры последнего года, нас ждет новая высота — комсомол, и даже поверить трудно, что мы уже такие взрослые...

Мы суем в крошечное окошко пропускной наши ученические билеты. Рослый человек в шинели пожарника и командирской фуражке придирчиво проверяет наши пропуска.

— Мы у вас уже были, — говорит Павлик.

— Что-то не помню, — подозрительно оглядывает нас вахтер.

— Ну как же, четыре года назад!

— Вон куда хватил! — смеется вахтер и отдает нам пропуска.

— А тут до нас ребята не проходили? — спрашиваю я.

— Не видал...

Чудесно! На этот раз Карнеев не успел перебежать нам дорогу.

По крутой лестнице мы поднялись наверх. Миновали площадку и будто из тоннеля вырвались в огромный светлый простор. Слева, за барьером, в гигантском провале, пустынный по раннему часу зал, где происходят все почтовые операции; над ним возносится стеклянный купол, как на вокзале, справа, в бесконечно повторяющихся светлых помещениях, обрабатывается, сортируется, распределяется, пакуется вся корреспонденция, посылки, газеты, журналы, рассылаемые по подписке, брошюры и книги для киосков и ручной продажи. Без усталости шуршат на быстрых роликах резиновые ленты конвейеров, на них плывут разноцветные толстые конверты, пакеты, залитые темной сургучной кровью, татуированные штампами и печатями, кипы газет, посылки в фанерных ящиках, иногда голых, иногда в серой холстине, перевязанные бечевой. Ленты передают кладь друг дружке, а затем сбрасывают в темный зев приемника, который мягко обрушит их на конвейер этажом ниже. Бесшумно проносятся электрокары со штабелями газет, попискивают вертким передним колесом ручные тележки...

Волнующее чувство дороги, пространства расстояний охватило меня. Подобное чувство я всегда испытывал на вокзале. Да Почтамт и был вокзалом, не только потому, что его перекрывал вокзальный купол и вся его громада напоена движением. Как и вокзал, Почтамт так же творил разлуки и свидания, расставания и встречи, уносил в широкий мир человеческие радости, надежды, печали; как и вокзал, он был пронизан неведомыми далями, манящим зовом дорог.

Я заметил, что Нина, будто замороженная, смотрит на плывущий по конвейеру голубой конверт. Там, где под лентой крутится ролик, конверт чуть приподнимался, перекачивался через горбинку и вновь бережно укладывался плашмя; казалось, он наделен самостоятельной устремленностью, словно знает, как важно скорее и в сохранности донести свое содержимое до адресата.

— Ты в первый раз здесь? — спросил я Нину.

— Да. Мне так нравится! Можно, я буду каждый день собирать тут бумагу?

— На здоровье!

— А почему ты не пишешь мне писем? Они бы тоже плавали на этих лентах, и никто бы не мог догадаться, что там написано.

— Что ж мне писать, ты и так все знаешь.

— Может, в письмах будет интереснее?

— Я попробую...

— Иду сдавать, — слышался голос Павлика.

Пока мы разговаривали, он не терял времени даром и уже собрал полный мешок. Мы тоже взялись за дело. Почтамт был золотым дном. Нам попадались целые кипы газет, испорченных бечевой при транспортировке, огромные куски рваной оберточной бумаги, испачканные и, видимо, потому списанные в брак брошюры, обрывки картона, негодные конверты, не говоря уже о всякой лохматуре.

Один за другим мы рысью проносили набитые бумагоутилем мешки через двор Почтамта на приемочный пункт, расположенный на углу двора под навесом. Старик приемщик шмякал на весы мешок и, кряхтя от усердия, выписывал корявыми пальцами квитанцию. В помещении было очень тепло, даже жарко, а во дворе, так забитом машинами, что казалось, им сроду не разъехаться, пронзительно холодно. И этот сбивающий дыхание сухой морозный холод был удивительно приятен, он подстегивал нас, хотелось скорее набить мешок и окунуться в студеную свежесть двора. Жаль только, что бумага так мало весит: мы перетаскали чертову уйму мешков, а общий вес не достиг и тридцати килограммов.

Но, узнав в школе, сколько собрали другие ребята, мы поняли, что трудились не зря. Все звено Карнеева не собрало и одного пуда!

Удачный рывок на какое-то время вывел нас в герои, только для нас сверкали стальные Линыны глаза. А дальше все удручающе напоминало историю с торпедным катером. Звено Карнеева медленно и неуклонно стало нас нагонять. Я ничего не понимал. Наши бригады добросовестно ходили на Почтамт, собирали бумагу по квартирам своих домов, Хорок притащил два мешка со старыми афишами и лоскутьями какой-то толстой разноцветной бумаги, а просвет все сокращался. Тщетно витийствовал я на сборах звена, призывал, умолял, язвил ребят, тщетно рисовал картину страшного позора, который нас ждет, если мы опять окажемся побежденными. Наши звенья так основательно выскребли Почтамт, что ежедневная «добыча» в его цехах не превышала четырех-пяти килограммов. Свои дома ребята тоже облазали сверху донизу, и теперь им доставались жалкие поскребыши. Можно было подумать, что Карнеев и его ребята творят бумагу из воздуха.

Как и прежде, бессильный найти новые пути, я обратился к собственным ресурсам. В течение нескольких вечеров мы с Павликом перебирали библиотеку моего покойного деда. Я беспощадно зачислял в утиль ценные книги и альбомы по медицине, комплекты медицинских журналов, французские романы в желтых обложках, разрозненные тома «Британской энциклопедии», труды древних философов, дореволюционные иллюстрированные издания. Да, беспощадно, но не безжалостно. У меня мучительно сжималось сердце, когда мы отправляли в

грязноватый мешок из-под картофеля толстый том в чудесном переплете, с атласной бумагой и яркими рисунками под тонкой папиросной бумагой или журнал с фотографиями старинных русских усадеб, парков, фонтанов, садовых клумб. Но передо мной всплывало худенькое, насмешливое лицо Карнеева, и жалость отходила. Павлику это давалось едва ли не труднее, чем мне. Почти про каждую книгу он убежденно говорил:

— Ну эту мы, конечно, оставим...

Я брал у него из рук пухлый том — иногда это оказывался справочник по детским болезням, иногда роман Поля де Кока на французском, иногда Анатомический атлас, а то и сборник речей Цицерона или творение древнегреческого философа, судя по скульптурному портрету автора: гологрудого старца с вьющейся бородой и будто закатившимися под лоб пустыми глазами.

Фальшиво-беспечным тоном я говорил «дребедень» или «устарело» и швырял книгу в мешок.

Мы с трудом оттащили на приемный пункт два огромных, туго набитых мешка. А потом на сборе звена я говорил, размахивая квитанциями:

— Почему мы с Павликом смогли за день сдать тридцать килограммов, а другие не могут? Сейчас бы поднажать всем, дружно, и победа в кармане!

— «Поднажать», «поднажать», только и слышишь! — с непонятной горечью сказал Чернов. — А чего нажимать-то, когда бумаги нет? Нету — все!

— Просто ты работать не хочешь! — резко возразил я. — Небось у Карнеева так бы не рассуждал.

— Факт, нет! — Чернов вызывающе вскинул свою кроличью мордочку. — Карнеев нас сроду не уговаривал и не подстегивал. Просто мы собирались и думали, как бы получше, поинтереснее сделать...

— Петух думал, думал да издох! Надо работать, а не трепаться. Мы обогнали Карнеева и не уступим ему!

И все-таки перед последним днем соревнования звено Карнеева снова вышло вперед. И я знал, что Карнееву не пришлось опустошать для этого дедушкину библиотеку, что его ребята не надрывались, как наши, выискивая в своих домах и дворах каждую завалившуюся бумажонку, что и на Почтамт они ходили реже нашего, что ради сбора бумагоутиля они не забросили всю остальную работу. А все-таки они были впереди, пусть не намного, но впереди. На них работали «дворовые дружины» — изобретение Юрки Петрова. В каждом Чистопрудном дворе они сколотили отряды из малышей-дошкольников, которые и занимались сбором бумажного мусора в своем доме. За это «карнеевцы» водили ребятешек по воскресеньям в Зоопарк или на детские утренники в кино «Маяк», кроме того, Юрка Петров обещал им создать школу фигурного катания на коньках.

На совете отряда я обжаловал незаконное использование детского труда, но Лина Кузьмина сказала, что это просто замечательно: ребятешки сызмальства втягиваются в общественную жизнь, и Карнеев с Петровым черт знает какие молодцы!

В последний день наша тройка снова отправилась на Почтамт. Если у меня еще оставалась маленькая надежда на успех, то она рассеялась как дым, едва мы вступили в цехи. Наверное, сходное чувство испытывает старатель, когда обнаруживает, что золотоносная жила

выработана до конца. Изредка попадаются чешуйки золота, но уже ясно: больше здесь делать нечего. Мы уныло бродили с этажа на этаж, подбирая лоскутки бумаги, даже заглядывали в урны, но мешки оставались тощими, легкими. Смешно было думать, что мы соберем те двенадцать килограммов, которые отделяли нас от Карнеева.

«Проиграли! — стучало у меня в мозгу. — Опять проиграли!..» До боли отчетливо я представил себе торжество Карнеева, уныние наших ребят и ту безнадежную, серую будничность, какая приходит за поражением. Нелегко мне будет теперь расшевелить звено, да и каким авторитетом может пользоваться вожак, идущий от поражения к поражению? Ох, как важно было выиграть! Важно не только для меня, но и для всего звена, и чтобы навсегда заткнулся Чернов, подрывающий доверие ребят ко мне!

Вокруг меня громоздились горы бумаг; бумага плыла на резиновых лентах, бумагу развозили на электрокарах и ручных тележках, бумага водопадом низвергалась из широких зевов штолен, соединяющих этажи; бумага пахла, шуршала, шелестела... Я смотрел, как размашисто, грубо хватают работницы кипы газет, чтобы перенести на другое место. Будь бумага из стекла, она разлетелась бы вдребезги, и все осколки достались бы мне. А вот развалили целый штабель брошюр, будто дом рухнул. А бумаге хоть бы что! Какой дьявольской прочностью обладают эти тонкие, легче воздуха, листки!

Я стоял в полутемном углу цеха, загроможденном связками брошюр. «Как разводить шампиньоны», — рассеянно ухватил глаз название верхней брошюры. И все другие пачки вокруг меня заключали руководство по разведению шампиньонов. На что тратится бумага! Бумага, которая так нужна нам для сдачи в утиль! Бумага, которая могла бы стать тетрадками в клетку по арифметике и в линейку по русскому языку! Я приподнял одну связку, натренированное плечо определило ее вес в четверть пуда. Передо мной было никак не меньше тонны прекрасной бумаги. Ну кто разводит шампиньоны? Я четырнадцать лет прожил на свете и не встречал человека, разводящего шампиньоны. А шампиньоны я видел в Саратове, они росли прямо на мостовой, среди булыжников, перед нашим домом. Никто их там не разводил, они росли сами по себе, в сухой земле, круглые, пыльные, похожие на картофельные клубни. Целыми семьями погибали они под колесами телег, под копытами лошадей и волов, превращаясь в розоватую кашицу.

Я не колебался больше. Четыре пачки, одна за другой, легли на дно моего мешка. Я замаскировал их сверху всяким бумажным мусором и побежал на приемный пункт.

Я не испытывал ни страха перед разоблачением, ни угрызений совести, только огромную, победную радость от того, что мне так сказочно повезло. И эта радость вспыхнула еще ярче, когда я выбежал во двор. За часы, что мы торчали на Почтамте, выпал снег, первый снег этой ранней зимы. Белый, нежный, пушистый, девственно-чистый, он покрыл двор, брезентовые крыши и капоты грузовиков, угольно-черные ветви засохшей липы, сиротливо торчащей посреди двора, навес над приемным пунктом. Он принес с собой ту особую прозрачную тишину, какую слышишь лишь при первом снеге, вмиг приглушающем все звуки: шаги, шум колес. С радостной улыбкой вбежал я под навес и уронил тяжелый мешок на весы.

— Простудишься, труженик! — добродушно сказал старик приемщик, накладывая на отвес круглые, плоские медные гирьки.

— Да ничего!.. — беспечно ответил я.



И так же беспечно и радостно смотрел я, как он опорожнял мешок над большим деревянным ящиком, как тяжело вывалились оттуда кипы брошюр и смешались с бумажным мусором. Меня ничуть не тревожило, что приемщик может заметить эти брошюры. И старик не заметил, он поправил очки с подвязанными ниткой дужками и сел выписывать квитанцию.

Бережно сложив и спрятав в нагрудный карман квитанцию, удостоверяющую, что мною сдано восемнадцать килограммов бумагоутиля, я вышел из-под навеса. Навстречу мне через двор плелись со своими тощими мешками Нина и Павлик.

— Ты уже? — удивился Павлик.

— Ага! — Я небрежно махнул рукой.

Видимо, их мешки были так легки, что я даже не услышал того привычного лязгающего звука, какой издают весы, когда на платформу опускается груз.

— У нас одна квитанция, — смущенно сказал Павлик, выходя с Ниной из-под навеса, — на пять килограммов.

— Значит, всего двадцать три...

Павлик, всегда сдержанный, скупой в проявлении чувств, содрал с головы ушанку, кинул в

снег, придавил ногой, затем, не отряхнув, нахлобучил на затылок и двумя руками пожал мне руку.

— Ты великий человек! — сказала Нина. — Завтра мы пойдем на каток.

Это была высокая честь. На каток Нину обычно сопровождали старшеклассники.

В проходной мы столкнулись с Карнеевым и еще двумя ребятами из его звена.

— Зря идете, братцы, — сказал им Павлик. — Там пусто.

— Неужто нам ничего не оставили? — улыбнулся Карнеев.

Меня всегда раздражала его улыбка, какая-то слишком легкая, случайная и оттого словно бы пренебрежительная.

«А вдруг он догадается сделать то же, что и я?» — мелькнула испуганная мысль. Но тут же я понял, что Карнееву и в голову не придет подобное, хотя бы он сто раз проиграл соревнование. И мне стало душно, словно лежащая в кармане квитанция придавила мне грудь всей обозначенной в ней тяжестью...

— А где разводят шампиньоны? — опросил я Павлика, когда мы уже приближались к дому.

— Понятия не имею, — удивленно ответил Павлик. — Я думал, грибы нельзя разводить.

— Кроме шампиньонов, — вдруг сказала Нина. Их разводят во Франции, я читала.

— А у нас разводят?

— Наверное... Они вкусные!

— Да уж и вкусные! — сказал я с болью. — Что я, шампиньонов не видал?

— Видать — видал, а есть — не едал! — пробормотал Павлик.

Нина засмеялась.

— Самые вкусные грибы на свете. Моя бабушка жарила их в сметане — пальчики оближешь!

— Ну и черт с ними! — сказал я.

Лина Кузьмина говорила долго. Отряд вышел на первое место в базе, и Лина, самая молодая вожатая, внутренне ликовала. Маскируя свое ликующее чувство, она с нарочитым спокойствием и ненужной обстоятельностью рассуждала об итогах соревнования. Особенно много внимания уделила она «замечательной инициативе 1-го звена, привлекшего к сбору бумаги малышей». Можно было подумать, что Петров с Карнеевым открыли новый материк. Она даже обмолвилась, что это самый ценный результат соревнования. Можно было подумать, что победили не мы, а первое звено. И странно — меня это почти не трогало. Хотелось лишь одного, чтобы все скорее кончилось.

Не такой рисовалась мне победа. Я думал, это будет самый счастливый день в моей жизни, а мне было томительно и пусто. Я глядел на знамя, распластанное по стене, на золотой горн. Обычно один их вид подымал мою душу, а сейчас и знамя и горн казались чужими, холодными.

Но вот каким-то будничным голосом Лина сказала:

— Все же победу в соревновании одержало второе звено.

Громко и дружно вспыхнули аплодисменты, словно легкая волна пробежала по кумачовому полотнищу знамени.

— Мне хотелось отметить лучших, — продолжала Лина, — но Ракитин говорит, что лучшие — это все звено!

— Неправда! — вскочил Чернов. — Мы плохо работали. Почти всю бумагу собрал сам Ракитин.

— Не преувеличивай, Чернов, — пробормотал я, скромно потупясь. И тут же до меня дошел другой, ядовитый, смысл им сказанного. — Неправда! — без передышки, но уже в ином тоне крикнул я. — Все собирали, и ты собирал!

— Да что мы собрали! — махнул рукой Чернов и сел.

Наше звено возмущенно загалдело. Прав Чернов или нет, сейчас это никого не интересовало, ребят обозлило, что он наводит тень на нашу победу.

— Тише, товарищи! — Лина стукнула ладонью по столу. — Если звеньевой показывает пример в работе, в этом нет ничего плохого...

Дверь приоткрылась, и в щель просунулась повязанная платком голова коридорной нянечки.

— Кузьмина, тебя к директору требуют!

— У меня сейчас сбор! — блеснула стальными глазами Лина.

— Да я ему говорила, а он велел срочно...

— Подождите, ребята, — сказала Лина и вышла из комнаты.

Когда Лина вернулась, глаза ее казались не стальными, а свинцовыми.

Она села за свой столик, сжала виски длинными пальцами, затем тряхнула головой и тихо сказала:

— Большая неприятность, ребята. С Почтамта поступило заявление: кто-то из пионеров сдал в утиль связки с брошюрами.

Вспыхнул короткий смешок и, будто удушенный, смолк.

— А зачем? — удивленно проговорил кто-то.

— Небось для веса, — пояснил Ладейников.

— Чепуха! — громко и брезгливо сказал Карнеев. — Никто из наших не мог этого сделать!

— Помолчи, Карнеев! Директор хотел прийти сюда, но я сказала, что мы сами разберемся. Кто был сегодня на Почтамте?

— Я, Цуганов и Васильева, а из второго звена Ракитин, Варакина и Аршанский, — с вызовом

ответил Карнеев.

«И чего он лезет? — тоскливо подумал я. — Хочет показать, что он ни при чем? Да на него и так никто не подумает...»

— Ну вот, — сказала Лина, — я обращаюсь к названным товарищам: кто из вас это сделал?

— Я! — прозвенел за моей спиной такой знакомый и любимый голос, что я мгновенно узнал бы его из тысячи голосов.

— Ты, Варакина? — недоверчиво произнесла Лина. — Зачем?

— Надоела возня с мусором, — свободно ответила Нина. — А Ракитину подавай мировой рекорд. Ну я и сунула эти брошюры. Подумаешь, ценность: «Как разводить опенки в сухой местности»!

— А ты понимаешь, Варакина, что ответишь за это пионерским галстуком? — как-то без особого гнева сказала Лина.

Короткое молчание и затем:

— Да!

Я молчал не потому, что хотел схватиться за спасательный круг, брошенный мне Ниной. Я молчал от счастливой растерянности, от огромного, до боли сладкого чувства, залившего мне душу. Ради меня Нина взяла на себя стыдный и жалкий проступок, не испугалась ни позора, ни кары!

— Варакина тут ни при чем, — сказал я, вставая. — Это сделал я.

— Ладно прикрывать-то! — крикнул Ладейников.

— Не валяй дурака! — жестко сказал Карнеев.

Но по тому, как металлически холодно вспыхнули глаза Лины, я понял, что она мне поверила.

— Чем ты докажешь?

— Брошюры назывались: «Как разводить шампиньоны», четыре связки...

Стало очень тихо, лишь за моей спиной любимый голос прошептал:

— Ну и дурак!

— Может, ты потрудишься объяснить, зачем ты это сделал? — со сдержанной яростью проговорила Лина.

Я ничего не ответил Лине, да и не сумел бы я сейчас объяснить, что заставило меня сунуть в мешок брошюры. Я думал в это время: настанет ли день, когда я буду вспоминать об этом как о давно минувшем и мне безразличном?

— Ясно зачем, — раздался насмешливый голос Юрки Петрова. — Чтобы победить в соревновании!

— Честно — кишка тонка, так давай на обмане! — крикнул Чернов.

— Это подло! — с отвращением сказал Карнеев.

И только его слова попали мне в сердце.

Чем злее и беспощаднее меня осуждали, тем сильнее крепла во мне уверенность, что все кончится благополучно. Мы столько лет дружили, неужели ребята не понимают, что не просто из тщеславия и самолюбия совершил я свой дурацкий поступок. И когда секретарь отряда, новенькая в нашей школе, Женя Румянцева сказала, что я недостойн носить галстук и меня надо гнать из отряда, я усмехнулся, настолько мне это показалось диким.

— Согласна с предложением Румянцевой! — поднялась из-за стола Лина.

Тогда я тоже встал и, ни на кого не глядя, пошел к двери.

— Ракитин, ты куда? — крикнула Лина.

Я не ответил, и дверь пионерской комнаты захлопнулась за мной.

— Нетто уже кончилось? — спросила меня заспанная уборщица, выдавая мне пальто.

— Нет еще.

— А ты чего раньше времени ушел? — проворчала старуха.

Я молча выдрал из рукава шапку, нахлобучил на голову и, не попадая в рукава пальто, выскочил из раздевалки.

На чугунных перилах школьного крыльца лежал пушистый молодой снег. Я сгреб его ладонью и отправил в рот. Снег мгновенно стаял в холодную, с металлическим привкусом, каплю воды. Я с усилием проглотил эту каплю. Затем я побежал на угол Лялина переулка и купил у лотошника две папиросы «Люкс». Моя мать внушила мне священный ужас к курению. Я всерьез думал, что погибну, стоит мне только закурить. Но я выкурил подряд две толстые, крепкие папиросы и ничего не почувствовал, наверное, оттого, что не затягивался.

Неужели из-за одной ошибки можно зачеркивать всю жизнь человека? Еще в первом классе я заболел мечтой о пионерском галстуке. В нашей школе не было звездочки октябрят, и я с огромным трудом пристроился к октябряткам базы ВСНХ. Сборы там происходили вечером, и путешествие от Армянского переулка до площади Ногина требовало мужества. Я не мог попросить у мамы на трамвай, она никогда бы не пустила меня одного в такую даль, да еще вечером. Но однажды у меня оказался в кармане гривенник, и после сбора, в одиннадцатом часу вечера я вскочил в 21-й номер трамвая. Я обнаружил, что еду не в ту сторону, когда под колесами проухал незнакомый мост, маслянисто отблеснула река и в черноту неба уперлись гигантские черные заводские трубы. В отчаянии я соскочил на полном ходу на булыжную, сразу ускользнувшую из-под ног мостовую, которую я обрел, лишь больно растянувшись на ней всем телом. А потом меня, словно эстафету, передавали друг другу редкие ночные прохожие, пока я, растерзанный, окровавленный и навек потрясенный ночной враждебной громадностью города, не оказался в тихом устье Армянского переулка. Почти год ходил я на площадь Ногина, работал там рубанком и стамеской, ножницами и клеем, и за этот год выяснилось, что мои родители не имеют никакого отношения к ВСНХ, и меня выгнали.

Мой сосед по квартире и старый друг Колька Поляков записал меня в звездочку при своей

школе. К торжественному дню присяги я красиво оформил ленинский уголок будущего отряда, но к присяге допущен не был, поскольку выяснилось, что я учусь в другой школе... Да, я, в полном смысле слова, выстрадал красный галстук и ни за что его не отдам. Вся история моей пионерской жизни прошла у меня перед глазами, пока я слонялся вокруг школы, куря папиросы. И чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что я хороший человек и нельзя так поступать со мной. Ведь я хотел, чтобы ребята поверили в себя, гордились своим звеном, злее работали. А тут еще Чернов постоянно совал мне палки в колеса, да и Тюрина... Может, это Карнеев их подучил? Как это он крикнул сегодня: «Подлость!» Тоже мне чистоплюй! Сам настраивает против меня ребят и еще орет!.. Все распиравшее меня чувство слилось в одно, огромное, как жизнь: в ненависть к Карнееву. Теперь я знал, что мне делать. Это не спасет, не выручит меня, но я должен это сделать, чтобы жить дальше.

Я быстро вернулся к школе и стал в тени подворотни на другой стороне. Ждать мне пришлось недолго. Вот распахнулась дверь, и, кутаясь в свою тигровую шубку, с крыльца сбежала Тюрина. Я глядел на нее и чувствовал, что с наслаждением продырявил бы еще раз эту полосатую шкурку со всей ее начинкой.

Гурьбой вышли Ладейников, Грызлов, Панков, Сергиенко и сразу погнались по мостовой консервную банку.

Появились Нина Варакина и Павлик. Они о чем-то говорили, озираясь, будто отыскивая кого-то. Я глубже запрятался в подворотню. Но вот Нина почти бегом устремилась к Чистым прудам, туда же медленно, поминутно оглядываясь, побрел и Павлик. Потом высыпала большая толпа ребят и растеклась по переулкам. Наконец показался в своей короткой курточке и кепке с пуговкой Карнеев. Мне повезло: он был один. Задумчиво насвистывая и заложив руки в косо прорезанные карманы, он постоял на крыльце, поднял воротничок и быстро сбежал по ступенькам.

Я нагнал его под высоким старинным фонарем.

— Ну-ка, стой!

Карнеев остановился, знакомо изогнув тонкие брови.

— Я давно хотел тебе сказать... Ты... ты сволочь... Я тебя вызываю!

Он как-то странно посмотрел на меня. В его долгом взгляде не было ни растерянности, ни удивления, лишь заинтересованность, будто он хотел решить для себя какую-то загадку.

— Ты с ума сошел! — проговорил он наконец.

— Не увиливай! Я тебя вызываю!.. Что, побежишь жаловаться, любимчик?

Губы Карнеева дернулись, но не сложились в улыбку.

— Тебе хочется сорвать злобу? Не понимаю только, почему ты выбрал меня?

— Ладно трепаться, еще как понимаешь! Кто подначивал ребят против меня? Сволочь!

— Хватит! — с силой сказал Карнеев. — Сумасшедший ты или просто дурак, мне это надоело. Говори, куда идти?

Мы быстро зашагали к Чистым прудам. Там в левом углу, в стороне Покровских ворот, возле

заколоченного железного писсуара, находилось наше ристалище. Мы давно выбрали это место, там никто не мог нам помешать: едва ли есть на свете что-либо менее притягательное для людей, чем заколоченная уборная.

Карнеев все время меня обгонял. Можно было подумать, что ему не терпится в драку. Но, скорее всего, он просто волновался. Уж кто-кто, а Карнеев не был драчуном. Ростом чуть повыше меня, но шуплый, худенький, он в неписаном школьном реестре занимал по силе одно из последних мест; слабее его были только Чернов да, пожалуй, Миша Хорок. Я же в шестых классах уступал лишь волжанину Агафонову, но тот мог осилить и восьмиклассника. Карнеев никогда не дрался, его и не задевали. Тронуть Карнеева — значило иметь дело со всем первым звеном, а там были серьезные люди.

Около бульвара я заметил Павлика и окликнул его. Это было очень кстати: не полагалось драться без свидетелей.

— Ты не возражаешь против Аршавского?

— Конечно, нет! — улыбнулся Карнеев.

Что ни говори, он прекрасно владел собой. И это его мужество и его слабость, так ощутимая во всей его поджарой фигурке, поколебали мою решимость, мне вдруг расхотелось с ним драться. Я уже не верил, что он подзуживал ребят, впервые за весь этот тягостный вечер я стал сам себе противен.

Павлик, с присущей ему сдержанностью, ни о чем не спросил. Он видел, куда мы направлялись, и молча пошел рядом. У меня мелькнула надежда, что Карнеев, не привыкший к нашим рыцарским церемониям, скажет Павлику что-нибудь шутливое, я подхвачу и все уладится. Но Карнеев и не думал шутить. Его вынудили принять участие в том, что было противно его натуре, и сейчас он с обычной добросовестностью хотел довести дело до конца. Будь во мне больше истинной смелости, я попросил бы у него прощения, но на это меня не хватило.

Мы подошли к железному ящику уборной. От нее на землю падала густая черная тень, за пределами тени промороженная земля в тончайшей наледи казалась стеклянной.

— Перчатки снять? — опросил Карнеев.

— Как хотите, — ответил Павлик.

— Можно в перчатках, — сказал я.

— Ну, начинай.

— Нет, ты начинай...

— Ты меня вызвал, ты и начинай.

Я ткнул его кулаком в плечо, и Карнеев бросился на меня. Если бы он не был так безрассуден и отважен, все бы обошлось, я совсем не хотел его бить. Но драка имеет свои законы. Обороняясь от сыпавшихся на меня градом несильных ударов, я совсем не нарочно попал ему в нос. Карнеев упал, но тут же вскочил, по лицу его текла кровь.

Павлик протянул ему носовой платок.

— Ничего, ничего! — Карнеев попытался улыбнуться.

— Высморкайся, — сказал Павлик, — а то дышать не сможешь.

Карнеев высморкался и вернул платок. Потом он довольно ловко ударил меня в челюсть. Я отступил, он прыгнул вперед и заколотил меня по голове. И тут мне показалось, что он совсем не плохо дерется, и я ударил его по-настоящему и еще раз. Он снова упал, встал, плюнул кровью и опять пошел на меня. Я ударил его в скулу, он опять упал.

— Хватит! — сказал Павлик, подавая ему руку.

Карнеев поднялся, под глазом у него натекал синяк, по подбородку бежала темная струйка.

— Ничего не хватит! — сказал он с искусственной, жалкой усмешкой.

Я не мог смотреть на его худенькое разбитое лицо. В горле у меня стоял комок, я чувствовал — еще секунда, и я разревусь. Я умоляюще взглянул на Павлика.

— Хватит! — повторил Павлик.

— Это нечестно! — возмутился Карнеев.

— Ладно, продолжайте.

Теперь я уже злился на Карнеева, злился, что он принуждает меня к драке, принуждает бить его, бить, и жалеть, и мучиться собственной низостью. И только для того, чтобы это скорее кончилось, я перестал себя сдерживать. Кепка слетела с его головы, затем он как-то умудрился потерять перчатку и, падая в очередной раз, ободрал руку о мерзлую землю. Наверное, это было очень больно, он несколько секунд сидел на земле, зажимая кисть коленями, а когда встал, лицо его было совсем белым.

— Кажется, я вышел из строя, — через силу спокойно проговорил он.

— Что, доволен? — сказал я от злобы не на него, а на себя.

Набрав горсть снега, Павлик протянул его Карнееву. Карнеев умылся снегом, стряхнул с лица пропитавшиеся кровью комочки, вынул чистый носовой платок и утерся.

— Доволен, — сказал он, — я ведь никогда не дрался.

— Ты молодец, — сказал Павлик.

— Чепуха! Будь здоров, Аршанский! — Карнеев сделал приветственный жест рукой, и щуплая фигурка его скрылась в тени деревьев.

— Ты бы еще целоваться с ним полез, — упрекнул я Павлика.

Мой друг не ответил.

— А я рад, что набил ему морду! — сказал я. — Иногда это полезно.

Павлик молчал. Такая была у него манера: если он был в чем-либо не согласен со мной или что-то осуждал во мне, он замолкал, и не было возможности его разговорить.

— Слушай, Великий немой, одно ты можешь сказать мне: чем кончился сбор?

— Лина хотела проголосовать твое исключение, — холодно ответил Павлик, — а Карнеев сказал, что это надо сперва обсудить на совете отряда, так и решили.

— Что же ты раньше молчал?

— А ты спрашивал?

— Теперь он меня угробит!

— Кто?

— Карнеев, кто же еще!

Тут Павлик снова замолчал, и больше мне не удалось вытянуть из него ни слова.

У Меньшиковой башни нам встретилась Нина Варакина. Я остановился с ней, а Павлик, не задерживаясь, прошел дальше.

— Ты куда пропал? — спросила Нина.

— Так... ходил... Слушай, как тебе пришло в голову сказать на себя?

Нина засмеялась.

— Я сразу догадалась, что это ты... Мне что — ну, выгонят, потом назад примут, а для тебя — конец света.

— Ну, спасибо.

— Да ладно! А знаешь, мне, по правде говоря, нравится, что ты эти брошюры жажнул. Ей-богу! Не всякий бы решился. А я люблю, кто рискует. Победа или смерть! — Она опять засмеялась.

Не знаю, говорила она от души или из желания подбодрить меня, но слова ее не доставили мне радости. Мне совсем не хотелось, чтобы она восхищалась тем, что не было во мне моим, это не приближало, а отдаляло ее от меня.

— Только не ханжи, — будто угадав мои мысли, сказала Нина. — На каток идем?

Я забыл, что сегодня открытие сезона.

— Конечно, пойдем! — сказал я, немного помедлив.

Чтобы не сталкиваться в раздевалке с нашими ребятами, я надел коньки дома и зашагал по хрустким от песка, обледенелым тротуарам к Чистым прудам. Когда я увидел гирлянды лампочек над ледяным полем, услышал музыку, звонко-хрипло рвущуюся из репродукторов, все тягостные переживания оставили меня, тело наполнилось упругой радостной силой, будто перед ощущением полета.

Я перелез через низкую ограду, проваливаясь по пояс, одолел крутой снежный вал, опоясавший каток, и с отвычки чуть не шлепнулся навзничь, когда лезвия коньков коснулись гладкого зеленоватого льда. Разогнавшись на мысках своих хоккейных коньков, я в резком темпе пробежал метров пятьдесят, четко прошел поворот и понял, что не забыл старую науку.

Я круто на одной ноте затормозил и только успел выпрямиться, как кто-то налетел на меня сзади и обнял за плечи.

— А я уж думала, что ты не придешь! — сказала Нина. — Решил сэкономить рубль?

— Да нет... Неохота с нашими встречаться. Ну что, рванем?

— А ты не разучился?

— Увидишь!

Мы взялись наперекрест за руки и побежали в сторону теплушки, наши коньки согласно резали лед. Бежать было легко и приятно, четкий ритм дарил ощущением единства, какой-то понимающей близости. Но это было только разминкой, пробой сил, так не разовьешь большой скорости. И перед поворотом Нина крикнула сквозь громкую музыку:

— Выходи вперед!

Вот теперь начался настоящий, бег. Пригнувшись и закинув левую руку за спину, я пошел неразмашистым, сильным рубленным шагом. Нина шла за мной шаг в шаг, держась за мою руку. Если идущий позади слабее тебя, все удовольствие пропадает — тащишь его, как на буксире. Нина бегала не хуже меня; поскольку же мне приходилось одолеваять сопротивление воздуха, ей было легче наращивать скорость. Она была не столько ведомой, сколько толкачом, я все время чувствовал нажим ее руки, и это заставляло меня бежать быстрее и быстрее. Поврозь нам не удалось бы развить такой скорости.

Круг за кругом отмахивали мы по большой дорожке катка, и другие конькобежцы почтительно расступались, освобождая нам путь. Каток был освещен неравномерно: близ теплушки залит огнями, а противоположная сторона тонула во мраке, чуть просквоженным тощим светом лампочек. И мы все время проносились из света в темь, из дня в ночь. На освещенном круге у теплушки толпились наши: Юрка Петров показывал свои фокусы. Мелькнула Тюрина, даже на катке она не расставалась с тигровой шубкой, Ладейников об руку с Лидой Ваккар, маленький Чернов на длиннющих «норвегах». Потом я заметил и Карнеева с черной повязкой на глазу — пришел демонстрировать свои раны. Интересно, сказал ли он ребятам, кто ему подбил глаз?

Когда мы снова вынеслись на темную половину катка, я вдруг перестал ощущать нажим Нининой руки и затормозил.

— Устала! — Нина обмахивала варежкой рзгоряченное лицо. — Пошли к нашим.

— Не пойду.

— Пошли! Юрка показывает «пистолет» с поворотом.

— Ну и ладно... Слушай, кто это разукрасил Карнеева?

— Не знаю. Хочешь, спрошу?

И, не дождавшись ответа, Нина покатила к теплушке.

Все было правильно. Не стоило обижаться на Нину. В конце концов, я не был ни Шаповаловым, ни Конрадом Вендтом. И Юрка Петров показывал «пистолет» с поворотом, а это никому из нас не давалось... Я смотрел, как Нина легко бежит по льду в своем красном свитере и красной

шапочке, и вдруг, безотчетно, спиной почувствовал опасность. Оглянувшись, я увидел, что ко мне приближаются Калабухов, Лялик и Гулька. Все трое были без коньков, их ноги разъезжались, и мне ничего не стоило сбегать к теплушке за подмогой. Но я понял, что не могу этого сделать. Мои товарищи рядом, но я не смею крикнуть им: «На помощь!»

Калабухов придерживался странного правила: если Нины не было рядом со мной, он никогда не начинал драки. Так и сейчас, он хмуρο глянул на меня и сказал:

— Мотай отсюда!

В руке он держал тонкий железный прут и этим прутом, совсем не больно, ударил меня по бедру. Можно было не обратить внимания на жест Калабухова и тихо убраться с катка. Я сам спровоцировал драку, вернее сказать, избиение. Это была какая-то странная месть самому себе. Я выхватил у Калабухова прут и отшвырнул далеко в сугроб. Они взялись за меня все сразу. Коньки не давали мне никакого преимущества, напротив: я только успел ударить Лялина коньком по голени, как тут же был сбит с ног. Я уже не сопротивлялся, только прикрывал лицо и живот.

Было очень скверно возвращаться домой на коньках. Ноги стали ватными, я все время спотыкался и раз упал, больно ударившись локтями. Я уже хотел снять коньки, идти прямо в носках, но не мог развязать смерзшиеся шнурки. А потом я стал видеть свой чудовищно распухший нос, он розоватым бугром выпирал на моем лице, натянув кожу щек.

— Что с тобой? — в ужасе воскликнула мама, когда я, стуча коньками, вошел в комнату.

— Упал на лицо.

— Что-то ты слишком часто падаешь на лицо. Возьми свинцовую примочку.

Я стоял у окна, промокал нос свинцовой примочкой и опять думал: будет ли такой день, когда я стану вспоминать о нынешней своей беде как о чем-то давно прошедшем и неважном?

Мягко растекался зеленоватый лунный свет по заснеженным крышам, в вышине чернели купола старинной церкви, построенной при Иване Грозном, в окнах домов уютно желтели и розовели абажуры. И завтра будут так же лунно зеленеть снег, и чернеть купола, и алеть, желтеть абажуры и ничего не изменится в окружающем мире, только мне придется начинать жизнь сначала.

Я где-то читал, что мужчина должен уметь проигрывать, что сила человека проверяется поражением. Я виноват и знаю, что виноват, мне нечего рассчитывать на снисхождение. Мужественно и покорно приму я любую кару...

На другой день я не пошел в школу. Я почувствовал, что не смогу появиться на совете отряда. От вчерашнего моего смирения не осталось следа. Все мое существо восставало против того жестокого приговора, который — я почти не сомневался в этом — мне вынесут.

Вместо школы я отправился в кругосветное путешествие по кольцу «А». Незаконность этого маленького путешествия придавала особую остроту и странность всем моим впечатлениям. Казалось, в городской жизни таится какой-то второй, тайный, смысл. Не зря так нахлестывали лошадей извозчики, каменно восседавшие в своих толстых шубах на высоких облучках саней: они-то знали то радостно-скрытое, что гнало их седоков в снежные дали улиц. Не зря так отчаянно сигналили машины, яростно прорывая уличную толчею в погоне за неведомым призом. Не зря штурмовали площадки трамваев и дверцы тупорылых автобусов толпы людей,

им тоже надо было поспеть на какой-то их праздник. Мне казалось, город наполнен счастливыми людьми, счастливыми машинами, счастливыми лошадьми. А потом я вспомнил, что завтра выходной и все вокруг торопится на отдых...

Маленький чистый глазок, отвоеванный мной у затянутого морозом стекла, все время подергивался стрельчатым узором, я отогревал его дыханием и опять видел людей, машины, лошадей с инеем на храпе, но почему-то не узнавал улиц и очень удивился, увидев вдруг стенд кинотеатра «Центральный». А потом, думая, что мы на Гоголевском бульваре, я вдруг обнаружил под самым окошком каменный парапет Москворецкой набережной и проглянул заснеженную белую реку, а потом, не узнав Яузские ворота, я решил, что заехал в какой-то другой, незнакомый, провинциальный город, сплошь двухэтажный, с золотыми кренделями над дверьми булочных. А вот уже и Чистые пруды, мы сделали полный круг, и надо сходить, кондукторша давно косится на меня.

Потом я долго слонялся по двору и понял, что прогульщики — самые несчастные люди на свете. До чего же томительно, скучно и пусто болтаться без дела, кажется, что само время остановилось.

Во двор то и дело въезжали широкие приземистые сани, груженные бочками с вином. Сизоликие, огромные возчики, в брезентовых плащах поверх тулупов на пахучей овчине, без устали ругали все на свете: мороз, своих заиндевевших, красноглазых битюгов, друг друга и самих себя. Бочки сползали по каткам в темные недра подвалов, возчики, матерясь, разворачивали сани, визжали полозья, скрипели в вязках оглобли; воробьи слетались на дымящиеся желтые кучи навоза. Когда последние сани съехали со двора и захлопнулись обитые жестью створки подвальных воротец, я понял, что могу вернуться домой: был третий час.

Тут началось самое мучительное. Каждые десять — пятнадцать минут я звонил Павлику и выслушивал все более сухой ответ его матери, что Павлик еще не пришел из школы. Я знал, что совет отряда не может кончиться так скоро, что Павлик прямо из школы зайдет ко мне, и все-таки звонил. Стемнело, но я не стал зажигать огня. Оттого, что в комнате было темно, особенно ярко сиял снег за окнами.

— Ты чего сидишь в темноте? — спросил Павлик, входя и щелкая выключателем.

Я зажмурился от яркого света и, зевая и протирая глаза, пробормотал:

— Ну чего там у вас?

— Где? — тоже зевая (он не терпел ломанья), спросил Павлик.

— На совете отряда, идиот!

— Вот так-то лучше! Все в порядке, галстук тебе оставили.

— Не валяй дурака! — закричал я, и рука моя непроизвольно сжала концы галстука.

— Ну, ну, спокойно!

— Прости, пожалуйста... Не сердись. И расскажи, как все было.

— Поначалу паршиво. Лина требовала исключить, Румянцева ее поддерживала, Мажура сидел темнее тучи, и все были уверены, что он тоже за исключение... Ну, а потом Карнеев толкнул

речь...

— Что же он говорил?

— Не стоит передавать — зазнаешься. В общем, он сказал, что пошел бы с тобой в разведку. Тут Мажура засмеялся: «Молодец, хорошо друга защищаешь!» — «А он вовсе мне не друг; товарищ — да, а дружбы у нас нет». — «Почему?» Карнеев покраснел: «И скажу! Сам Ракитин, может, лучше всех в отряде работает, а наладить работу звена не умеет. Ему и обидно»...

— Слушай! — вскричал я. — А ведь он совершенно прав, я действительно никудышный звеньевой!

— Наконец-то понял...

Теперь я понимал. Понимал не только это, но и многое другое, и прежде всего, какая сила в прощении. Все во мне будто осветилось ярким и ровным светом, не осталось ни одного темного угла, где бы могло притаиться что-то мелкое, самолюбивое, жалостливое к себе.

Я подошел к окну, увидел снег, крыши, купола, пятна абажуров и вспомнил, как смотрел на них вчера. Все вышло совсем не так, как мне думалось. Нежданно быстро минула беда, но что-то не минуло, и это останется во мне навсегда, не бедой, не горечью, а новой важной частицей меня самого.



Любовь и знамя



Я помню в мельчайших подробностях все события того необыкновенного дня, но, как ни странно, не помню основополагающего события: с чего все началось, какой праздник нарушил обычное течение школьной жизни тем далеким днем уходящего мая. Загадочный инструмент — память: сохранила для меня на всю жизнь запах Катиных волос, дробь барабанов, тяжесть знамени в руках и упустила главное — почему были барабаны и знамя, почему вдруг группу пионеров нашей школы освободили от занятий и, соединив с пионерами близлежащих школ, повели в Театр Революции, а потом на Красную площадь?

Конечно, при некоторых усилиях можно установить, какое тогда происходило торжество, но что это даст?

Был Великий пионерский праздник на пороге лета. И мы двигались от дверей школы в Лобковском переулке к Покровским воротам, месту сбора пионеров нашего района, затем по кольцу «А» к Никитской площади, откуда рукой подать до Театра Революции.

То был долгий, хотя и сладостный путь, — рядом, касаясь меня локтем смуглой руки, шла Катя Вишнякова. Присутствие Кати делало меня счастливым, хотя и несколько компрометировало происходящее. Считалось, что лишь лучшие из лучших удостоились чести представлять отряд на празднике, а Катин пионерский энтузиазм был весьма сомнительного свойства. Порой она не прочь была поиграть в пионерку, как, впрочем, и в прилежную ученицу, но хватало ее ненадолго. Нельзя быть одновременно и первой красавицей, и отличницей, и украшением пионерского отряда. Катя исправно несла службу красоты, это, видимо, и обеспечило ей место в наших пока еще нестройных рядах. Конечно же, вожатый-старшеклассник прочил на ее место кого-то другого: или длинную, плоскую, как гладильная доска, Агнию Шелагину, унылый образец всех школьных добродетелей, или Зину Кострову, всегда готовую взвалить на свои крутые, борцовские плечи любую нагрузку. Но где-то невдалеке стояла Катя, лентяйка и распустеха, и хлопала пушистыми глазами, и это напоминало движение бабочки-траурницы, то сводящей, то размыкающей темные бархатные крылышки, и, проклиная себя за беспринципность, вожатый протянул пригласительный билет ей. Сейчас он шел впереди

колонны, вместе с остальными водителями, и скорее всего размышлял о том, стоило ли кривить совестью, чтобы облагодетельствовать других. Другими были мы с Павликом, — нам выпало счастье подпирать Катю с двух сторон!

Мы оба были в нее влюблены. Я — открытее, Павлик — с той сдержанностью, что мало знавшим его представлялась эмоциональной тупостью. Соперничество не только не развело нас, напротив — спаяло еще крепче. На переменках мы вместе ходили смотреть на Катю, она училась в другом классе. «Смотреть» — значило просто смотреть, ничего больше.

Катя была девочкой спортивного, а не лирического склада и одевалась соответственно: синяя юнштурмовка с закатанными рукавами, клетчатая короткая юбка и спортивные туфли на резине. Она обладала редкостным свойством быть самой по себе в любом коловращении, не растворяться в окружающем. Вокруг нее вечно крутились мальчишки, более смелые и менее влюбленные, чем мы с Павликом. Ее окружали подруги-дурнушки в надежде, что на них падет отблеск красоты, а Катя, ничуть о том не заботясь, сохраняла полную обособленность. Этому помогала некоторая заторможенность отзыва. Катя никогда не откликалась сразу на обращенные к ней слова, хотя слышала прекрасно. Если заговоривший проявлял настойчивость, она чуть прищуривалась, фокусируя собеседника, медленно улыбалась, встряхивала головой, отгоняя посторонние мысли, и, наконец, отвечала, чаще всего невпопад, ибо все-таки не успевала всплыть из своих глубин. Но случалось, она говорила вздор сознательно, из озорства, пренебрежения или самозащиты. Конечно, так вести себя позволено лишь первой школьной красавице. Она жила, душевно опережая нас, своих сверстников, ее уже коснулось дуновение тайн, о которых мы лишь начинали догадываться. Ее душа была сосредоточена в себе, и, чтобы вступить в общение с внешним миром, Кате требовалось некоторое преодолевающее усилие. Но тогда мы не утруждали себя подобными размышлениями, мы просто смотрели на странное чудо посторонней и так осязаемо затрагивающей нас жизни. Катя стояла, уткнувшись подбородком в перила, безучастная ко всему, стояли и мы в почтительном отдалении. Если Катя куда-то брела, мы тащились следом. Вдруг, подчиняясь неосознанному внутреннему толчку, она стремглав кидалась вверх или вниз по лестнице, мы сломя голову устремлялись за ней, перескакивая через некрутые ступеньки. Ее брали в обхват старшеклассники, веселые, самоуверенные боги, и мы выглядывали из-за их спин, как любопытные во время уличного происшествия. Звенел хриплый, простуженный звонок, Катя скрывалась за дверью класса, пустели коридоры. Мы с Павликом обменивались взглядами, все было ясно без слов, и медленно плелись восвояси, в тоску урока, в страх, что вызовут к доске, в печаль, что ничего для нас не изменилось.

И вот мы топаем вдоль Чистопрудного бульвара к Мясницким воротам. Шесть лет учились мы с Катей в одной школе, с первого школьного дня, и лишь сегодня впервые обменялись простыми, ничего не значащими словами, полными скрытого значения и смысла. У меня такое чувство, будто я объяснился ей в любви и объяснения мои приняты благосклонно. И некоторая неловкость перед Павликом владеет мною. Он-то не обменялся ни одним словом с Катей. Молчаливый от природы, он сейчас и вовсе онемел. Даже когда я обращаюсь к нему, Павлик лишь кивает головой, пожимает плечами, прищуривает или округляет глаза. Что это с ним? Осторожно заглядываю ему в лицо. Взгляд ясный и, как всегда, словно бы издалека. Наверно, все дело в том, что он больше моего любит Катю.

Я упоен своей отвагой, находчивостью и свободой. Никакого великодушия — Павлик брошен, как Мальмгрен на льдине. У меня одна забота — развить свой успех, отличиться, выкинуть что-нибудь небывалое. Но что можно сделать, когда тебя увлекает строй, неровный, разболтанный, но все же строй, которому приходится подчиняться! Почему молчат барабаны? В их дробь нашло бы хоть какой-то исход распирающее меня чувство. Но барабаны висят на бедре у барабанщиков, кленовые палочки засунуты за ремень; зачехлены знамена, их несут на

широких плечах старшекласники. Праздник еще не начался, он где-то впереди, но уже заложен в ячейку тех сот, что зовутся временем. Он предопределен, рассчитан и все знает про себя, а стало быть, и про нас, каждому отведено свое место, своя судьба. Лишь мы ничего не ведаем, опьяненные мнимой свободой, чуждые догадке, что наши роли расписаны.

Вразброд, нестройно, но довольно ходко колонна шагала по Москве. Зеленела молодая листва бульвара, и еще ярче зеленели насвежо покрашенные к весне железные кубы и цилиндры общественных уборных; мчались одинокие, без прицепа, вагончики трамвая «А», грохотали телеги по булыжнику Уланского переулка, там находился извозный двор, где дачники нанимали подводы для перевозки вещей. На горбине Рождественского бульвара, будто на краю пропасти, сиротливо жались к тротуару костлявые, пыльные пролетки последних московских лихачей, понурые лошади медленно ворочали челюстями в длинных торбах, а старые извозчики подремывали на козлах в тщетном ожидании седоков, им снились «Стрельня» и «Яр». Полно было такси — «фордиков» и доживающих век пионеров московского таксомоторного парка темно-синих «рено» с тапирьими носами.

Переходя на рысь, мы ринулись в провал — к Трубной площади, застроенной, лотковой, звонкой и шумной. Затем долго подымались вдоль узкого, об одну аллею, пустынного Петровского бульвара; мимо больницы справа и тенистого, сыроватого Страстного бульвара слева мы вышли на Тверскую площадь — последний рубеж нашей Москвы. За памятником Пушкину начиналась заграница. Мы вышли на площадь прямо против кинотеатра «Паласс», справа, на углу, вздымался рекламный щит «Центрального». Я оказал Кате, что смотрел в «Палассе» «Контрабандистов из Чили», а в «Центральном», бывшем «Ша нуар», что значит «Черная кошка», — «Нападение на Виргинскую почту». Катя была потрясена моей светскостью. В благодарность она призналась, что всегда мечтала иметь фамилию Чаргаш. Она знала мальчика с такой фамилией и, когда была маленькой, хотела выйти за него замуж, чтобы носить эту красивую фамилию. Он, кстати, жил здесь недалеко, в том же доме, где кинотеатр «Арс». Павлик не слышал, о чем мы говорили, до него донеслось только название киношки. Скривив свое маленькое лицо и откашлянув, он странным, горловым баском вдруг сказал, что в Москве есть два «Арса» — один на Тверской, другой на Арбате. Это было ни к селу ни к городу, но Катя могла хотя бы откликнуться спутнику, наконец-то преодолевшему барьер немоты. С женской беспощадностью она сделала вид, что не слышит, а у меня не нашлось мужества поддержать друга — сообщение Павлика повисло в воздухе.

Продолжая развивать волновавшую ее мысль, Катя сказала, что теперь она понимает, насколько глупо ради перемены фамилии выходить замуж, можно сделать это через газету.

— А в «Вечерке» было, — торопливо и хрипло сказал Павлик, — что Дураков поменял имя Андрей на Виктор.

— Зачем? — лениво откликнулась Катя. — Андрей тоже хорошее имя. Князь Андрей.

Павлика совсем перекосило: нет ничего неблагодарнее, особенно для человека, желавшего блеснуть, объяснять остроту.

— Ну да, в том-то и дело, что он обменял имя, а фамилия у него была Дураков.

— Сам ты дурак! — недовольно сказала Катя.

Я так и не понял: то ли ее разозлила собственная недогадливость, то ли она усмотрела в словах Павлика насмешку над ее желанием переменить фамилию. И легкой тенью по лазури моей ликующей души промелькнуло подозрение, что лживость ума не принадлежит к главным

достоинствам Кати. И тут я пошел на первый, но далеко не последний в своей жизни компромисс: приученный с самого раннего детства выше всего ценить в людях ум, я отказался ради Кати от обычного мерил человека человеческой ценности. Я наскоро придумал какой-то ум души, куда более важный, чем мозговой ум, и щедро наделил им Катю.

Мы приближались к Камерному театру. Недавно я смотрел там спектакль «Жироффле-Жироффля» со знаменитой Алисой Коонен в главной роли; художника спектакля Якулова у нас в доме называли запросто Жорж: он был другом юности моих родителей. Я понимал, что легко могу показаться Кате бесстыдным и неумелым хвастуном, но соблазн был слишком велик. Когда я заговорил, у меня возникло ощущение, что язык распух и с трудом поворачивается во рту.

— Надоело, — ни к кому не обращаясь, тягуче проговорила Катя, — идем, идем, а все конца не видать. Ты не знаешь, который час? — обратилась она к Павлику.

Тот с серьезным видом задрал рукав курточки, поглядел на худое запястье, потом ощупал воображаемый жилет.

— Надо же, я сегодня не при часах! — сказал с деланным изумлением.

Катя улыбнулась: она знала, что у Павлика нет часов, как и у всех нас.

— А на моих без пятнадцати двенадцать, — сказал я.

Катя сумрачно покосилась на меня, её скулы источали мороз. И тут, перехватив мой взгляд, она звонко рассмеялась: уличные часы, прикрепленные к фонарному столбу справа от памятника Тимирязеву, показывали без четверти двенадцать.

Блестящая острота вернула мне расположение Кати, снова отбросив Павлика в арктические льды.

Через несколько минут мы смешались с пионерской толпой, осаждавшей двери Театра Революции, а потом, подвластные голосу вожатого и держась по-прежнему вместе, бесконечно долго поднимались по каким-то лестницам, сперва широким, пологим, нарядным, затем — поуже, покруче, поскромней, наконец — вроде наших чердачных, только кошками не воняло. Через низенькую дверцу мы проникли под самую крышу театрального здания: вот потолок, вот люстра, а за краем барьерчика с сеткой — глубочайший колодец. Серо-желтыми, с выблиском, столбами застыли толстые складки занавеса.

Я пробежал взглядом сверху вниз по этим складкам, что-то оборвалось у меня в животе, и на всю жизнь привязался ко мне страшно-сладкий сон. Я сижу в театре на галерке, в первом ряду, ничем не защищенном от глубокого черного провала. На сцене творится прекрасное зрелище, но я ничего не вижу, кроме зияющей под ногами бездны. Острый зуд охватывает тело, я пытаюсь отодвинуться от дыры, но тщетно: сзади напирает нечто, не имеющее ни образа, ни определения, не дает мне выгадать ни вершка безопасности. Я в ужасе кричу, просыпаюсь и на грани пробуждения испытываю ни с чем не сравнимое счастье. Но счастье принадлежит уже полуяви, а сон — болезни, именуемой боязнью высоты.

Странно, но я совсем не боюсь высоты. Более того, высота меня привлекает, не манит болезненно, а радостно влечет, как все хорошее: луг, поляна, лес, река. На высоте легко дышится, свежий ветер обдувает виски, с высоты дальше и шире видится. И все же без малого сорок лет меня навещает то чаще, то реже ужасный сон о колодце театрального зала, я кричу, просыпаюсь и чувствую счастье.

В этом счастье — бессознательная память о том, что я целовал Катю. Тайно целовал в голову, она и не чувствовала, — впрочем, как знать, может, и чувствовала, только не показывала виду? Иначе почему она вдруг так затихла, замерла?

Нам достались места в последнем ряду, откуда вовсе ничего не видно, и мы заняли свободные откидные стулья впереди, а Катя пристроилась у самого барьера, прямо на полу. Мне стоило чуть нагнуть голову, чтобы коснуться лицом ее волос. Далеко внизу, на полутемной сцене, двигались с неживой четкостью заводных игрушек крошечные фигурки в солдатской форме. Слова к нам почти не долетали, только музыка и выстрелы, мы смотрели словно бы пантомиму. Давали «Первую Конную» Всеволода Вишневского. Постановщик спектакля пользовался обобщенными символическими образами, а дети начисто лишены той детской наивности, что позволяет взрослым людям цивилизованного общества и дикарям Соломоновых островов чутко отзываться условному искусству. Театр гудел, кашлял и чихал, будто все разом простудились. Мне же было скучно лишь вначале, когда я пытался постигнуть происходящее на дне колодца. А затем я понял, что нечего мне высматривать чудо вдаль, когда оно у самых моих глаз.

Зачем понадобилось Кате крючиться на полу в мучительно неудобной позе? Быть может, она смутно ожидала того, к чему я продирался сквозь страх, трепет, смятение? Конечно, она не знала, что ее ждет — слова, прикосновение или просто стук сердца, но такой громкий, что она услышит. Да нет, при чем тут знание — нерассуждающий и безошибочный инстинкт заставил ее втиснуться между мной и барьером.

Наклонившись к ее голове, я вдыхал слабый, чистый, теплый запах. Я забыл об окружающем, о бедном Павлике, сидящем сзади, и коснулся лицом ее волос, ощутил их губами, но поцеловал скорее воздух над ними, нежели их легкую субстанцию. Со сцены послышалась жаркая пальба, взметнулся и погас огонь, дав прирост тьмы, мой рот приник к тверди и теплу Катиного темени. Я уже не понимал — на театре или во мне самом творятся гром и вспышки. Внезапное ликование уступило место щемящей жалости. Катя казалась такой маленькой и беззащитной, я погибал в сладком сострадании к ней. И уже не лицо мое, а весь я потонул в Катиных волосах.

На сцене отстрелялись, и в зале забрезжил свет...

От театра к Красной площади мы шли четким строем. Гремели барабаны, колыхались, рдели знамена, сверкали золотом кистей и наконечников древка. Милиция сдерживала поток машин, телег и пролеток, глазели потрясенные прохожие. Подвластная нашему движению, замирала Москва. Я совсем забыл о любви, — «то, что в мир приносит флейта, то уносит барабан». Катя и сама будто отодвинулась в тень. Она понимала, что несет на Красную площадь лишь свое беспечное девичье сердце, а мы — душу будущих солдат. Наше поколение воспитывалось на песнях гражданской войны. И едва лишь брусчатка, выстилавшая площадь, ложилась под ноги, мы становились воинами и мечтали погибнуть в бою. У слишком многих из нас эта мечта сбылась...

В последнем кратком замешательстве близ светлой расщелины между кремлевской стеной и краснокирпичным боком Исторического музея Колька Лазукин, школьный заводила, всегда занимавший командные посты, определил нас с Павликом в плакатоносцы. Нам доверили широкое красное полотнище с лозунгом. И хотя это окончательно разлучило нас с Катей, мы не колебались, ибо принадлежали сейчас грому, а не соловьиному свисту. И тут во мне разыгралась дерзость, порожденная недавней победой — не над Катей, над самим собой.

— К черту! — сказал я. — Давай мне знамя!

— Что-о? — прищурился Лазукин. — Ах ты, мелочь пузатая!

— Я понесу знамя!

Колька усмехнулся.

— Правильно, — сказал он, — тебе только и носить.

И сразу мне в грудь ткнулось древко знамени. Я едва успел обхватить его руками, как Лазукин втолкнул меня меж двух рослых знаменосцев, и мы двинулись.

Вскинув знамя на плечо, я удивился, какое оно легкое. Мы шли по брусчатке, слегка проскальзывающей под подошвой. Мостовая здесь приметно горбилась, я впервые заметил, что Красная площадь находится на холме. Но так и должно быть, что же ей в низине лежать!..

Знамя, конечно, не было легким, но и тяжелым его не назовешь, оно хорошо и прочно давило на плечо, и рука, лежащая на древке, без всякого усилия создавала противовес.

Сзади шел Павлик. Что ж, и ему кое-что перепало на этом празднике. Он никогда не носил плакатов на демонстрации, а я уже нес однажды папу Пия XI, которого сам же нарисовал на листе фанеры и выпилил лобзиком. У Павлика слишком узкие плечи и тонкие руки, чтоб он мог нести знамя. Это только в первые минуты кажется, что оно ничего не весит. Еще как весит-то, будь здоров! — даже назад заваливает. Надо держать его попрямее, а то и в самом деле опрокинешься...

А еще дальше в колонне идет Катя, и она видит мою мужественную спину и крепкое плечо, противоборствующее давлению древка и тяжелого бархата. Да, я нес не простое кумачовое знамя, а бархатное, цвета раздавленной вишни, с золотой бахромой и грузными золотыми кистями, с золотой массивной стрелой на конце древка, самое большое и тяжелое знамя в отряде, а может, и на всей площади...

Мы приближались к Мавзолею. Еще нельзя было разобрать, кто там стоит, и тут оба знаменосца сделали короткое, резкое движение, и знамена из наклонного положения стали стоймя. Я поспешно последовал их примеру. Так нести знамя оказалось куда труднее, хотя в ход пошла и левая рука. Раньше основная тяжесть приходилась на плечо, а теперь сосредоточилась в руках.

Я покосился на моих соседей — великовозрастные парни, окаменев лицами, печатали шаг. Знамя будто выросло из тела, — прямое, гордое, древко не шелохнется, легкий ветер играет кумачом, будто листвой дерева. Мы как раз поравнялись с Мавзолеем, когда оба гиганта враз подняли знамена и понесли их перед собой на вытянутых руках. Я чуть замешкался.

Был краткий миг блаженства, когда я поверил, что могу делать все то же, что и они. Этот миг вместил клочок голубого неба, пестрядь Василия Блаженного, едва угаданный промельк Катиного лица, вспышку гордости и, не оформившись в отчетливый образ переживания, пропал в липком страхе, что мне не удержать знамя.



Душа во мне заметалась, как зверек в клетке. Я не отважился глянуть на Мавзолей, мои глаза были прикованы к рукам, сжимавшим древко, с белыми, будто обмороженными суставами пальцев.

Знамя тянет меня вперед, я пытаюсь сопротивляться, но все же обгоняю боковых знаменосцев. Краем глаза ловлю скульптурность их бесстрастно-героических лиц, и мне становится еще хуже. Они идут так стройно, так прямо и четко, и это, наверное, делает еще более заметной мою борьбу со знаменем. Что есть силы стараюсь не семенить, подравниваюсь с ними. Пот заливает лицо, в глазах радужатся круги и стрелы. Я бреду вслепую. Спина, плечи и локти одеревенели, но эта одеревенелость не придает крепости, напротив, лишает власти над своим телом. На руках от кисти к локтю натянулись тетивой жилы, они так напрягаются, что руки сводит судорогой.

В странном спокойствии я предвижу, что сейчас произойдет. Я роняю знамя перед самым Мавзолеем и падаю сам. Но это не спасает меня. Лишь мертвому позволено выронить знамя, а я останусь живым и пройду через чудовищное унижение: замешательство, задержка колонны, крики, затем кто-то подхватит знамя, поднимет за шкуру меня, встряхнет и толкнет вперед. В огромном коловращении площади это может остаться незамеченным. Нет, с Мавзолея все видно. Там увидят, что упало знамя, а знамя не должно падать...

И все-таки оно упадет — алым бархатом на мостовую, золотом шитья и кистей — в пыль и,

падая, острым своим наконечником зачеркнет сегодняшний день и все, что было, и все, чем я, казалось, стал, зачеркнет мне душу.

А затем не стало ни страха, ни стыда, ни сожаления, все кануло, осталось лишь безмерное одиночество, пустота. Страшное одиночество среди стольких людей!

И вдруг из этой пустоты ко мне протянулась рука. Я не знаю, как это произошло, но я уже не был один. Я слышал голос Павлика и чувствовал его за спиной, его дыхание касалось моего виска. Я не различал обращенных ко мне слов, какой-то гуд наполнял голову, но я знал одно: если упаду, знамя подхватит Павлик. И я шел...

А потом кто-то пытался вырвать знамя из моих рук, но я не отдавал, вернее, не мог отдать, потому что свело пальцы.

— Отпусти, — услышал я тихий голос Павлика, — теперь можно.

Да. Красная площадь осталась позади. Перед нами была Москва-река, и, как всегда здесь, у реки, колонны рассыпались, стали толпой. А знамя хотел забрать Колька Лазукин.

— Вытри лицо, — сказал Павлик.

Я уступил знамя Лазукину, достал носовой платок и стал вытирать мокрое и почему-то грязное лицо.

— А ты силен! — с натужной, неуверенной игривостью сказал Лазукин.

Я отвернулся. Меня трясло и немного мутило. Руки были как чужие, я едва справлялся с платком. У меня не было зла на Лазукина, просто сейчас не хотелось ни с кем разговаривать. Даже с Катей. Я мог сейчас молчать с Павликом, больше ничего. Все стало каким-то неважным, второстепенным.

Я бросил ребят и кратчайшим путем, через Солянку и Старосадский, пошел домой. Потом я часто думал: почему мне было так печально в остаток того необыкновенного дня, когда я поцеловал девочку, пронес знамя и узнал, что такое дружба?



Мой первый друг, мой друг бесценный



Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в

церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Морозовых.

Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письма на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.

Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под боком у немецкой кирхи, другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.

Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменах, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслабились, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.

В Телеграфном я впервые заметил этого длинного, тонкого, бледно-веснучатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупно улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:

— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..

Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.

Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив в горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:

— Ты под нами живешь?

— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят на Телеграфный.

— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?

— Две. Вторая темная.

— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться. — Меня зовут Юра, а тебя?

И мальчик сказал:

— Павлик.

Тому сорок три года... Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.

Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свете настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.

Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь написать. Мне очень многое непонятно, ну хотя бы что значит в символике бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.

Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Помимо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша дружба началась в нежном возрасте, трех с половиной лет, и в описываемую пору насчитывала пятилетнюю давность.

Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству, в большом шестиэтажном доме на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя не уставая хвастался своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа...», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта...» Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными, темными, как чернослив, глазами, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девочку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый, способный к истерическим вспышкам ярости, — и на него рука не поднималась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался меня зарезать. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы умел он загибать, и еще похлеще. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар влечения.

Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились усадить нас за одну парту. Когда выбирали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигали

кандидатуры на другие общественные посты.

Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкликнул мое имя. Митя не выказал ни малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроком руки и шеи учеников, отмечая грязнужь крестиками в тетрадке. Подучивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити помутился разум от зависти. Целый вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма и муки, требовал «товарища санитаря». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского». Я так и не выяснил, что это: фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное качество?

К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непрременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятишек, которых выгуливали в Лазаревском и церковном садах.

Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу, так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе, что там ни говори, ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «буби-копф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!

Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, в дошкольные времена, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.

Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня для моей же пользы, боясь, что дурные наклонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитаря. А затем со слезами в глазах Митя требовал вернуть

ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и пытался вклеить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв...

И вот пришел в мою жизнь Павлик. И у дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик — какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» — сперва во дворе, потом в школе, — он перешел в наш класс и вновь оказался в положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним... Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.

На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно, я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцати, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.

На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Мать не зря надрывалась над пишущей машинкой, выколачивая рубли для оплаты уроков фрейлейн Шульц, омрачившей мои детские годы. Понятно, что все наши часто менявшиеся школьные немки души во мне не чаяли. И задержавшаяся дольше других Елена Францевна не являла собой исключения, хотя я никак не соответствовал ее идеалу ученика.

Она требовала в классе не просто тишины и внимания, а молитвенной сосредоточенности, как в храме. Худущая, изжелта-серая, напоминающая лемура громадными темными подглазьями на изможденном, в кулачок, личике, Елена Францевна казалась умирающей от какой-то страшной болезни. Но она была совершенно здорова, никогда не пропускала уроков, даже во время эпидемий гриппа, валивших всех учителей подряд. Она могла наорать на ученика за рассеянный взгляд или случайную улыбку. Куда хуже крика были ее въедливые нотации, она словно кусала тебя обидными словами. Конечно, за глаза ее звали Крысой, — в каждой школе есть своя Крыса, — а худая, востренькая, злая Елена Францевна казалась специально созданной для этой клички. Была ли она на самом деле такой злой? У ребят не существовало двух мнений на этот счет. Мне же она представлялась несчастным, издерганным человеком. Но я-то был принцем! Она вызывала меня читать вслух, и маленькое, некрасивое ее лицо молодо розовело, когда я выдавал свое «истинно берлинское произношение».

Но настал и мой черед. Елена Францевна никогда не спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же еще надо? Вдруг, ни с того ни с сего, она вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика. Как раз перед этим я пропустил несколько дней — то ли болел, то ли прогуливал — и понятия не имел о домашнем задании. Наверное, она все-таки была злючкой и вызвала меня нарочно, чтоб подловить. Но поначалу все шло хорошо. Я проспиргал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, требующие дательного падежа, прочел по учебнику тошнотворную назидательную историйку и пересказал содержание.

— Прекрасно, — поджала узкие, бледные губы Елена Францевна. — Теперь стихотворение.

— Какое стихотворение?

— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном.

— А вы разве задавали?

— Привык на уроках ворон считать! — Удивительно, как легко она заводилась — с пол-оборота. — Здоровенный парень, а дисциплина!..

— Да я же не был в школе! Я болел.

Она уставилась на меня окольцованными синевой, лемурьими глазами и стала листать классный журнал, пальцы ее дрожали.

— Совершенно верно, ты отсутствовал. А спросить у товарищей, что задано, мозгов не хватило?

Взял бы да и сказал — не хватило. Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашел другой выход. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с легкой усмешкой, призывая и ее отнестись к случившемуся юмористически.

— Встань! — приказала Павлику немка. — Это правда?

Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что это неправда. Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего достоинства — принц все-таки!

Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал ее, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно все это нисколько его не касалось. Спустив пары?, немка угомонилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор. Я рванул шиллеровскую «Перчатку» и заработал жирное «отлично».

Вот так все и обошлось. Ан не обошлось. Когда, довольный и счастливый, я вернулся на свое место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки, вставочка с пером «рондо». Я оглянулся: он сидел за пустой партой, через проход, позади меня.



— Ты чего это?..

Он не ответил. У него были какие-то странные глаза: красные и налитые влагой. Я никогда не видел Павлика плачущим. Даже после жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут — не от боли, а от обиды, — он не плакал. Он и сейчас умудрялся держать слезы в глазах, не давая им пролиться, но внутри себя он плакал.

— Брось! — сказал я. — Стоит ли из-за Крысы?..

Он молчал и глядел своими остекленевшими глазами мимо меня. Какое ему дело до Крысы, он и думать о ней забыл! Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, среди бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошел бы в огонь и в воду.

Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. Как ни крути, он все-таки подвел меня, пусть и невольно, и мне пришлось защищаться. Ну, покричала на него немка, подумаешь, несчастье, она на всех кричит. Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. А вот окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы собственный язык. И вдруг я понял, что это не пустые слова. Недавно я прочел книжку про Джордано Бруно «Псы господни». Из всех людей, каких я знал, только Павлик мог бы, как Джордано Бруно... Ради своей правды... А ведь так оно и случилось: подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись, для этого ему

достаточно было всего лишь поднять руки...

Почти год держал он меня в отчуждении. Все мои попытки помириться так, «между прочим», успеха не имели. А возможности были, мы учились в одном классе, жили в одном подъезде, наши пути все время пересекались. Надо отдать должное чуткости ребят: они деликатно охраняли нашу разобщенность, помогая избегать ложных положений, разных неловкостей. Учителя и другие взрослые люди, не ведавшие о нашем разрыве, то и дело совершали невольные промахи, по привычке считая нас с Павликом неразлучными. Будь то опыты на уроке химии, занятия в физическом кружке, воскресники, дежурства в учительской или пионерские поручения, нас обязательно зачисляли в одну группу, звено или пару. Ребята неприметно помогали нам разъединиться.

В глубине души я вовсе не испытывал к ним благодарности. Они мешали моему тайному стремлению помириться с Павликом невзначай. Но все равно выпадало немало случаев, когда при обоюдной доброй воле мы могли начать хотя бы суховатое общение, чтобы затем без выяснения отношений и всякой «достоевщины», столь любезной Мите Гребенникову, вработаться в прежнюю дружбу. Ничего не получалось: Павлик не хотел этого. Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости, все скользкое, уклончивое, двусмысленное — прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого.

Когда же через год я послал ему записку с просьбой о встрече, он без всяких церемоний сразу поднялся ко мне, как делал это прежде. С некоторым, смущением я обнаружил, что не должен извиняться, ни хоть словом касаться прошлого. Павлик не хотел, чтобы я нес ответственность за себя прежнего. Он понял, что во мне стала другая кровь, вот и пришел.

Поль Валери сказал: «Писатель вознаграждает себя, как умеет, за какую-то несправедливость судьбы». Сейчас я вознаграждаю себя за несправедливость судьбы к Павлику. Когда мы недавно собирались в нашем старом дворе, я тщетно ждал, что наконец-то услышу о нем добрые и высокие слова. Вспоминали Ивана, вспоминали Арсенова, Толю Симакова, Борьку Соломатина, но хоть бы кто сказал о Павлике. Только письмо его родным отправили, но ведь это не более чем формальность, пусть и благородная...

Его не знали. Редкое душевное целомудрие заставляло Павлика держать на запоре свой внутренний мир. Посторонним людям он казался апатичным, незаинтересованным, безучастно пропускающим бытие мимо себя. Но я-то знаю, как мощно заряжен на жизнь был Павлик, каким сильным, страстным, целенаправленным характером он обладал. Ему так и не пришлось выйти на суд людской. Все, что в нем развивалось, зрело, строилось, не успело обрести форму...

Природа дружбы иная, чем у любви. Легко любить ни за что и очень трудно — за что-нибудь. Дружба не столь безотчетное чувство, хотя и в ней есть своя мистика. Я знаю, что привлекло Павлика ко мне и чем явился для меня он в начале наших отношений. Потом годы окутали нас таким животным теплом, что не осталось места головному рассуждению.

Павлик был мальчик умственный. В своей семье он не имел питательной среды. Его отец был часовщиком, с расширенным и слезящимся от лупы левым глазом. Кроме часов, его ничто на свете не интересовало. Это только в сказках часовщик овевая дыханием романтики и доброго чудачества. Считается, что причастность к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности. Отец Павлика ремонтировал секунды, минуты и часы, но сам жил вне времени, безразличный к его интересам, страстям и борениям. Правда, в иную добрую минуту он с удовольствием вспоминал, что смотрел однажды замечательный спектакль: «Коварский и

любовь». У Павлика мертвело лицо, когда отец посягал на подобные разговоры.

Его мать производила впечатление женщины, не ведавшей, что изобретено книгопечатание. И это казалось тем более странным, что ее братья были крупными учеными: химик и биолог. Она не поддерживала с ними родственных отношений, а может — они с ней. Впрочем, брат-химик однажды привез Павлику из заграничного вояжа кучу шикарного тряпья. Мать Павлика явилась в мир, так и не очнувшись до конца от темного сна предбытия: тихий голос, отсутствующий взгляд, замедленные жесты, неконтактность с окружающими. Она свела свою жизнь к минимуму забот. Павлик сделал все от него зависящее, чтобы не попасть в этот малый круг, уступив младшему брату скупое материнское внимание. Но и на нее иной раз находило: она подвигала к пианино вращающуюся табуретку и слабо беспокоила клавиши вялыми пальцами, закрыв глаза бледными, тонкими веками, похожими на птичью пленку. Лицо Павлика мертвело, как и во время культурных диверсий отца.

В нашей семье все думали. Быть может, больше, чем надо. У нас существовал культ книги: дед собирал научную библиотеку, отец — техническую, мы с матерью — художественную литературу и мемуары. О литературе говорили все время, глумясь над известным утверждением, что литературой можно заниматься, но боже упаси о ней говорить. И конечно, вскормленный такой средой, я был очень книжным мальчиком. Зловещему обаянию двора и акуловской дачи обязан я тем, что не стал книжным червем. Павлику наша настроенность на культуру была необходима, как воздух.

Мне же общение с ним давало нечто большее. Он был не только Атосом наших детских игр в мушкетеры, он обладал характером Атоса: несовременным в своей безупречности и благородстве вопреки всему.

С каждым годом мы становились все ближе и дороже друг другу. На пороге юности нас поразил общий недуг — невыясненность устремлений. Вопрос: кем быть? — возник в наших душах куда раньше, нежели его продиктовала жизненная необходимость. Мы оба хотели играть, а не присутствовать безмолвными статистами на сцене жизни. Иные одаренные ребята уже знали свой путь. Математика сама нашла Славу Зубкова, музыка — Тольку Симакова, живопись — Сережу Лепковского, спорт — Арсенова. Другие ребята, не подчиненные рано проснувшемуся дару, знали хотя бы примерное направление своего будущего: инженерия, медицина, педагогика, строительство. Многие наши сверстники, не мучаясь понапрасну, жили изо дня в день: школа, футбол, кино, а там видно будет.

Мы не могли принять такую ползучую жизнь. Неизвестность томила нас. Мы оба хорошо и ровно учились по всем предметам, у нас не было ведущей страсти, чтение — страсть пассивная, нельзя стать просто читателем, так же как и театральным зрителем или посетителем музеев. У нас не было и ярко выраженных способностей, нас интересовало все. Теперь я понимаю, что мы уже тогда числились по ведомству Аполлона, а не иных, серьезных богов, но сами мы охотнее посещали лекции академиков Лазарева и Вавилова, чем спектакли и концерты. Мы искали себя. Застрельщиком поисков был Павлик. Это его осенило, что мы должны варить гуталин. Знаменитый дядя-химик начинал с варки гуталина. И однажды сварил такой замечательный гуталин, что сразу вошел в славу. Нам такого гуталина сварить не удалось, хотя мы продушили всю квартиру вьедливым запахом ваксы. Чтобы жильцы не ругались, мы всем чистили ботинки, а Фоме Зубцову — сапоги. Отец, смеясь, говорил, что так начинал не Лавуазье, а Рокфеллер. Но из нас даже Рокфеллеров не вышло. Наш гуталин не давал блеска, хотя здорово пачкался, и Фома Зубцов всякий раз «перечищал» свои хромовые сапоги у айсоров на углу Кривоколенного переулочка.

Затем мы пытались создать красную тушь. Жидкость оставляла несмываемые пятна на руках,

одежде, стенах и грязно-белой шерсти моего пса Джека, но, нанесенная пером на бумагу, обнаруживала непонятную водянистость. Строки бледнели, таяли, и мы уже готовы были поверить, что ненароком создали «симпатическую тушь», но ядовитый цвет не исчезал совсем.

Блистательный пример дяди-химика заставлял нас упорно цепляться за чуждую нам науку. Мы беспощадно били пробирки, переводили химикалии, колбы лопались над спиртовкой, как бомбы, вызывая панику среди соседей, и наконец у Павлика достало мужества сказать: «Хватит добывать стекло из пробирок!» На химии был поставлен крест.

Пришел черед физике, науке будущего. Мы изнуряли себя на лекциях знаменитых ученых, пытались постигнуть теорию относительности, повесив для бодрости на стенке портрет молодого Альберта Эйнштейна, спорили о квантовой теории, не понимая в ней ни шиша, ломали головы над книгами Ноультона, Эддингтона, Брэгга, но едва справлялись даже со школьной физикой, потому что оба были бездарны, в математике. Нас выручил... Пастернак. В «Охранной грамоте» я прочел о муках будущего поэта, мечтавшего стать композитором, но не обладавшего абсолютным слухом. Он отказался от музыки, узнав, что его кумир, гениальный Скрябин, скрывает как нечто стыдное несовершенство своего слуха. Павлик не сразу понял, куда я гну. «Для современного физика математика — все равно что абсолютный слух для композитора». — «Правильно! — сказал он и оборвал провода на мостике Уитсона, который начинал собирать. — К черту!.. — А потом добавил задумчиво: — А все-таки Скрябин стал Скрябиным и без абсолютного слуха».

Но Скрябин не мог без музыки, а Пастернак мог — и отступился. Мы тоже могли без физики...

Миновала, поглотив уйму времени и сил, но не захватив души, география с картами, атласами, глобусами, с книгами о Ливингстоне, Стенли, Миклухо-Маклае и Пржевальском; ботаника с гербариями, с тонким, волнующим ароматом засушенных цветов, трав, листьев, с приобретением в складчину слабенького микроскопа; электротехника, отмеченная серией коротких замыканий и одним серьезным пожаром, — была красная машина и тревожный звон колокола, и сперва плоское, затем по-удавьи округлившееся, долгое тело шланга, и бравые, расторопные пожарники в сияющих золотых касках...

Наш отдых от трудов праведных был не менее изнурителен и целенаправлен. «Перерыв!» — объявлял Павлик и ставил на нос кий от настольного бильярда, или стул, или половую щетку, или цветок, если дело происходило летом. Я немедленно следовал его примеру.

Мы увлекались балансированием, посмотрев в мюзик-холле номер австрийского гастролера, мага и волшебника. Он балансировал на слабо натянутом канате, держа на кончике раскляпанного носа полутораметровый стальной штырь с подносом, на котором стоял кипящий самовар и чайный сервиз. «Этому можно научиться», — задумчиво сказал Павлик, заставив меня поежиться.

Я уже знал, что у Павлика слово не расходится с делом. Знал боками и легким сотрясением мозга. Когда награждали первых девушек-парашютисток, Павлик решил, что ради поддержания мужской чести мы тоже должны совершить прыжок с двумя зонтиками из окна его кухни во двор. Хорошо еще, что мужская честь удовлетворилась прыжком из его кухни, а не из моей, находившейся на этаж выше.

Мы раздобыли зонтики и кинули жребий, кому прыгать первым. Выпало мне. Я не особенно волновался: несколько пробных прыжков с платяного шкафа убедили нас, что зонтики держат не хуже парашюта. Я влез на подоконник, затем стал на карниз. Внизу подо мной светлела полоска асфальта, дальше двор был вымощен булыжником. Я видел круглые картузы возчиков,

плешь дворника Валида, макушки играющих в классы девчонок, спины лошадей. И я шагнул туда, к ним, вниз. На мгновение показалось, что плотная струя воздуха подхватила меня, вслед за тем двор со всем, что его населяло, подскочил вверх и ударил меня в пятки. Что-то взболтнулось в голове, и я потерял сознание.

Вокруг меня хлопотали люди, когда сверху примчался Павлик. Поразив всех своим чудовищным бессердечием, он даже не глянул на поверженного друга, схватил зонтики и, убедившись, что они не пострадали, пулей взлетел наверх. Через секунду он распластался рядом со мной. Все же его приземление оказалось удачнее, он отделался потерей половинки переднего зуба...

Не стоит думать, что балансирование — невинная забава, когда этим занимаешься на пару с Павликом. Вот как все это выглядело в ту пору, когда после долгих беспощадных тренировок мы сравнивались с австрийским виртуозом.

По команде мы разом вскидывали на нос, лоб или подбородок какой-нибудь предмет. Миг-другой — обретен центр равновесия, и предмет застывает в совершенной неподвижности. Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, голова, откинута назад, затекает, пора кончать, но никому не хочется сдаваться.

Приходит мать с покупками. Мы приветствуем ее, не меняя позы. Она идет в темную комнату, переодевается там, достает швейную машинку, что-то шьет, тихонько напевая про себя. Затем прячет машинку в шкаф, выходит и застает нас в той же позе.

— Какой кошмар! — больным голосом говорит она и идет на кухню.

Через некоторое время возвращается с кофейником в руке — ничего не изменилось.

— Господи! Вы посмотрели бы на себя со стороны — законченные идиоты!.. Вас же удар хватит!..

Мать недалеко от истины, в затылке тяжесть, — видно, вся кровь скопилась там. Пробую заговорить Павлику зубы: уроки, мол, не сделаны, мне дали на один вечер пьесу Жироду «Троянской войны не будет», — ни ответа, ни привета. Проходит еще минут двадцать. Смерть начинает казаться избавлением, но я еще цепляюсь за жизнь.

— Давай так, — предлагаю я, — считаем до трех, и все!

— Как хочешь, — равнодушно отзывается Павлик.

— Раз, два, три!

Мы враз обретаем свободу. Павлик никогда не мешкает, он не нуждается в такой мелкой победе, но ему хочется, чтобы я тоже научился терпению...

Поиски своего лица продолжались... Меж тем я начал писать рассказы, а Павлик — пробовать силы на подмостках любительской сцены, но почему-то в этих своих занятиях мы уже не стремились к объединению. Я не предлагал Павлику соавторство, а он не уговаривал меня стать его партнером. Наверное, потому, что тут каждый столкнулся со своей судьбой, с единственным делом, которому должен был служить. Но мы даже самим себе не признавались, что выбор сделан. Мы обманывали себя так искренне, что по окончании школы оба подали заявление в медицинский институт, обычное прибежище тех, кто не ладит с математикой и не верит в себя на гуманитарном поприще. Лишь убедившись в тщете своего жестокого

благоразумия, лишённые в непосильной зубрежке возможности заниматься тем, без чего нам жизнь была не в жизнь, мы ринулись на открывшиеся среди года факультеты киноискусства. Я с грехом пополам поступил на сценарный, Павлик провалился на режиссерском. Зато через полгода он блестяще сдал экзамены сразу в три института: в ГИТИС, куда и пошел, в тот же ВГИК, чтоб доказать себе и другим, что может туда поступить, и для спокойствия родителей в историко-архивный. «Что ж, — рассуждал его отец, — Павлик не стал врачом, но, может, я увижу в его постановке «Коварский и любовь».

Он этого не дождался. В первый день войны ребята Армянского переуллка явились в военкомат. Нас с Толей Симаковым забраковали: поначалу война была разборчивой. В сентябре я получил от Павлика кое-как нацарапанную открытку с фронта: «Эти мерзавцы здорово бомбят, но ничего — живем».

А жить ему оставалось совсем немного. Он погиб под Сухиничами. Не от бомбы, не от осколка снаряда, не от прицельной или шальной пули — от своего характера. Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании сельсовета, сохранить жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих людей, немцы подожгли сельсовет, из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни один человек не вышел. Так рассказывали местные жители, когда вернулись наши. К тому времени от всей деревни остались лишь зола да угли.

Нет могилы Павлика, нет могилы Толи Симакова. Он погиб в Бжезинке после неудачного побега из лагеря. Серое небо третьей военной зимы приняло в себя еще клубок черного дыма.

Уходя в начале января 1942 года на фронт, я ничего не знал об участи моих друзей...

Четверть века прошло с окончания войны, прожита лучшая, главная часть жизни, а мне до сих пор то чаще, то реже каждый год снится Павлик. Сон — счастливый художник, ему не нужно заботиться о цельности сюжетной ткани, о правдоподобию, о достоверности, мотивировках, он владеет тайной, заставляющей верить ему, прощать нескладицу и даже явную нелепость. Мне всегда снится одно и то же, меняются лишь второстепенные подробности, улетающие по пробуждении и ничего не значащие в существе сна, — Павлик жив и вернулся. Непонятно, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Во всяком случае, тут нет ничего зазорного для него, откупленного своей гибелью даже от плена во сне. Подразумевается, скорее, долгая утрата памяти, летаргия забывшей себя личности: — сон пренебрегает точным объяснением. Довольно того, что Павлик жив и вернулся. И хотя меня тревожит и томит невнятность судьбы чудом воскресшего, все меркнет перед громадным счастьем — Павлик жив, жив!.. А затем начинается нечто смутное и безмерно печальное. Павлик не идет ко мне. Я ему не нужен. Возле него как-то дискретно реет его молчаливая мать, равно призрачная и во сне и в жизни и все же более необходимая вернувшемуся Павлику, чем я, единственный друг. Их осеняет какая-то общая забота, которую мне не дано разделить. Но ведь должны мы отговориться, отплакаться за все эти годы, неужели Павлик не понимает этого, неужели он совсем забыл меня? Нет, он все понимает и ничего не забыл. Он сознательно не идет ко мне, исключает меня из своего нового бытия. За что? Я ни в чем не виноват перед ним, я не сделал ничего плохого, ему не в чем упрекнуть меня. Во сне я говорю все эти слова кому-то: то ли его матери — в тщетной надежде, что это дискретное существо поможет мне, то ли самому Павлику, но не прямо, а на неслышном человеку языке рыб. Но он-то слышит меня и не отзывается. Вдруг он возникает рядом со мной, холодно кивает и молча проходит мимо.

Я просыпаюсь с мокрым лицом и долго думаю об этом сне, испытывая въяве острую душевную боль. Я перебираю свою жизнь, поступки, отношения с людьми, все наработанное и

ненаработанное и не нахожу вины за собой, вины, заслуживающей такой казни. Но может быть, там, откуда пришел Павлик, иные мерила, быть может, мы сами некогда иначе мерили себя?..

С каких-то пор мне стало казаться, что мой грех перед ним — в отсутствии чувства вины. Если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват. Виноват во всем: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрьмах и лагерях, в убийстве президентов и проповедников, в плохих книгах — не только своих; в том, что правда ходит с поджатым хвостом, а ложь и клевета — задрал голову; что в мире не затихают выстрелы, не затухают пожары, гибнут дети и не счесть обездоленных...

Каждый погибший откупает другого у гибели. Павлик дал себя сжечь, чтобы жил я. А я плохо распорядился его подарком. Не надо отрицать своей вины, мы все виноваты друг перед другом и во сто крат сильнее — перед мертвыми. И надо все время помнить об этой своей вине, — быть может, тогда исполнится самая святая мечта из всех доступных человеку: вернуть к жизни ушедших...

Минувшим летом грибная страсть занесла меня на край Калужской области. Приятель, купивший там за бесценок брошенный дом в полупустой деревне, обещал мне настоящий грибной рай. Как полагается новоселу, он плохо знал дорогу, и мы долго плутали по каким-то новым шоссе и старым проселкам. И раз мелькнула, царапнула по сердцу надпись на дорожном указателе: «До Сухиничей...» — я не разобрал, сколько километров. Наконец мы оказались в молодом смешанном леске — березы, осины, невысокие елочки, и приятель неуверенно, будто советуясь, сказал:

— Кажется, здесь.

Может, мы и не туда приехали, но после исхоженных, с примятой, а то и вовсе вытоптанной травой, нищих подмосковных лесов тут нам и впрямь привиделся рай. Грибы попадались разные и все больше не особо ценные: сыроежки, моховики, лисички, но случались и подберезовики, и даже белые. И какой-то приятный был этот лесок: чистый, нехоженный, неломаный, просквоженный солнцем, без паутины и прилипчивых мух. По нему легко ходилось: ни чащобы, ни валежника, ни потных, вязких мест, где нога вдруг по колено проваливается в торф, никаких подвохов не таил молодой, приветливый реднячок. Может, потому я почувствовал скорее обиду, нежели боль, напорвшись на что-то острое, скрытое в траве. Инстинктивно я рванулся вперед и чудом удержал равновесие, мои ноги запутались в колючей проволоке, — я увидел свой капкан, на миг приподняв его над травой. Приятель поспешил мне на помощь. Вдвоем мы освободили мои матерчатые туфли и брючины от шипов, а затем извлекли на свет божий тяжелый моток колючей проволоки, той самой, без которой немислим передний край.

Она лежала у наших ног, частью сухо- и красно-ржавая, частью мокрая, черная; в налете какой-то плесени, безобразная, давно мертвая, но еще способная ужалить. И кто ее знает, служила она нам или противнику, скорее всего и тем и другим, ну да не об этом речь...

Я никак не был настроен на встречу с войной. Молодой лес вырос там, где некогда были землянки, окопы, ходы сообщений, пулеметные гнезда, колючая проволока, минные поля и погорелья деревень.

И тут меня снова нагнала и пронзила стрела дорожного знака: «До Сухиничей...» Вот на этой земле, где-то поблизости, а может, прямо здесь, Павлик доживал свою короткую жизнь.

Почему-то мне впервые предстало, что в окруженном неприятелем сельсовете творилась не смерть, а последняя жизнь Павлика. Пока все не стало огнем, он жил жизнью мысли и всех чувств, памяти, и слов, и маленьких желаний: попить воды, покурить, утереть пот со лба. Он жил и, как всякий живой, обладал своим прошлым, ему являлись лица людей, которых он успел полюбить, и лица тех, кого он не успел возненавидеть, им фоном служили бульвары, переулки, театральные залы, аудитории, казармы. И что-то он задерживал, оставлял с собой, что-то отмахивал как ненужное, мешающее...

Наша ответственность друг перед другом куда больше, чем мы позволяем себе думать. В любой миг нас может призвать и обреченный смерти, и обреченный выбору между добром и злом, и просто усталый человек, и герой перед подвигом, и малый ребенок, — это зов на помощь, но одновременно и на суд.

